

БЪЯНКА МАРАИС

ПОИМ,
ДАЖЕ
ЕСЛИ
НЕ
ЗНАЕШЬ
СЛОВ

роман

ph

Бьянка Мараис

Пой, даже если не знаешь слов

«Фантом Пресс»

2017

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

Мараис Б.

Пой, даже если не знаешь слов / Б. Мараис — «Фантом Пресс»,
2017

ISBN 978-5-86471-813-1

Жизни девятилетней Робин из благополучной белой семьи и чернокожей Бьюти, матери трех детей, никогда не должны были пересечься. Робин скучает в пригороде Йоханнесбурга, а Бьюти изо всех сил пытается в одиночку поднять детей. Но восстание школьников, вышедших на улицы города с протестами против порядков апартеида, сметает привычное существование, и Робин с Бьюти оказываются в одном доме, а их судьбы тесно переплетаются. Робин, умная и предприимчивая, обожающая книги про сыщиков, твердо настроена стать детективом. И такая возможность ей представляется – Бьюти явно что-то скрывает от нее и не менее явно нуждается в помощи. И Робин начинает действовать, не сознавая, к каким трагичным последствиям может привести ее игра. История, рассказываемая поочередно Робин и Бьюти, постепенно превращается в настоящий гобелен, на котором запечатлены судьбы девочки и женщины, оказавшихся в самом центре исторической бури. Для Робин поиски правды, начавшись как игра, постепенно станут путешествием самопознания. Дебютный роман Бьянки Мараис – идеальное чтение для всех, кто полюбил “Убить пересмешника” Харпер Ли, “Прислугу” Кэтрин Стокетт и “Бегущего за ветром” Халеда Хоссейни, это книга с интригующе непредсказуемым сюжетом, полная теплого юмора и обаяния.

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-86471-813-1

© Мараис Б., 2017
© Фантом Пресс, 2017

Содержание

1	7
2	13
3	18
4	22
5	25
6	30
7	35
8	37
9	41
10	44
11	48
12	53
13	55
14	59
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Бьянка Мараис

Пой, даже если не знаешь слов

HUM IF YOU DON'T KNOW THE WORDS by Bianca Marais
Copyright © 2017 by Bianca Marais

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Издание осуществлено при поддержке Канадского Совета по искусствам We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien

© Елена Тепляшина, перевод, 2019
© Андрей Бондаренко, оформление, 2019
© «Фантом Пресс», издание, 2019

* * *

*Морне, моей обожжаемой Старой Утке,
и Юнис, Пулен и Номтандазо.*

Вы научили меня, что если людей можно разделить по расовому признаку, то их сердца – нельзя, потому что любви безразличен цвет кожи и она способна проходить сквозь стены

1

Робин Конрад

13 июня 1976 года

Боксбург, Йоханнесбург, Южная Африка

Я соединила последние две линии “классиков” и вывела в верхнем квадрате большую цифру 10. Писать, сколько лет мне исполнится в следующий день рождения, было захватывающе и странно, ведь всем известно: когда добираешься до двузначной цифры – все, детство кончилось. Огрызок зеленого мела, без спроса позаимствованный из папиного набора для дартса, почти стерся, и бетон подъездной дорожки царапал пальцы, пока я наносила завершающие штрихи.

– Ну вот, готово. – Я встала и оглядела результат своих трудов. Всегдашнее разочарование: снова мое произведение вышло далеко не таким прекрасным, как я себе представляла.

– Просто чудесно! – объявила Кэт, как всегда прочитав мои мысли и пытаясь подбодрить меня, прежде чем я в приступе самокритики сотру “классики”.

Я улыбнулась, хотя ее мнение не очень-то считалось, мою сестру-близняшку легко приводило в восторг все, что я делала.

Кэт сказала:

– Сначала ты.

– Ладно.

Я вытащила из кармана бронзовый полуцентовик, потеряла монетку на удачу, положила на ноготь большого пальца и подбросила. Монета, вращаясь, описала дугу, сверкнула на солнце и, как только она упала в первую клетку, я прыгнула, твердо вознамерившись побить рекорд.

Я успела сделать три полных круга, прежде чем монетка вылетела за пределы квадрата с цифрой 4. Мне следовало выйти из игры, но я бросила быстрый взгляд на Кэт. Сестра отвлеклась на ибиса, который громко скандалил на соседской крыше. Поскорее, пока Кэт не заметила мою оплошность, я подтолкнула монетку носком тряпочной туфли на место и продолжила прыгать.

– Как хорошо у тебя получается, – подала голос Кэт через несколько секунд, когда нагледлась на птицу и обнаружила, как я продвинулась.

Пришпоренная ее аплодисментами и подбадриваниями, я запрыгала быстрее – и не заметила вовремя, что шнурок на одной туфле развязался. На последней клетке я наступила на него и с размаху упала, ободрав коленку о шершавый бетон. Я завопила, сначала от испуга, потом от боли; именно этот звук привел каблуки маминых босоножек в поле моего зрения. На меня упала тень матери.

– О господи. Опять! – Мать нагнулась и рывком поставила меня на ноги. – Ну в кого ты такая неуклюжая!

Я приподняла окровавленное колено. Мать, увидев его, поцокала языком.

Кэт скорчилась рядом со мной, уставившись на мелкие камешки, торчавшие из ранки, и дрожала. На глазах начали закипать слезы, но я знала, что не должна плакать, если не хочу вызвать неудовольствие матери.

– Я нормально. Все нормально. – Я выдавила слабую улыбку и осторожно выпрямилась.

– Ро-обин, – вздохнула мать. – Ты ведь не станешь плакать? Сама знаешь, какая ты некрасивая, когда плачешь. – Она скосила глаза к носу и комически скривилась, иллюстрируя свои слова.

Я выдавила смешок, чего ей и хотелось.

– Не стану, – пообещала я.

Плакать на подъездной дорожке, на глазах у соседей, было бы непростительно. Мою мать очень заботило чужое мнение, предполагалось, что оно должно заботить и меня.

– Молодец. – Мать улыбнулась и поцеловала меня в макушку – награда за храбрость.

Насладиться наградой мне не удалось. Утро прорезал телефонный звонок, и этот последний момент нежности оборвался. Мать моргнула, и ласка в ее глазах сменилась раздражением.

– Пусть Мэйбл тебя отчистит, хорошо?

Едва она скрылась на кухне, как рядом раздалось подозрительное поскуливание; и точно – Кэт плакала, присев на корточки. Смотреть на сестру для меня всегда было все равно что смотреться в зеркало, но сейчас мне показалось, что стекло между моим отражением и мной исчезло и я смотрю не на свое изображение, я смотрю на себя.

Страдание, перекосившее лицо Кэт, было моим страданием. Ее голубые глаза налились моими слезами, пухлая верхняя губа дрожала. Любому, кто сомневался в существовании особой связи между близнецами, достаточно было бы увидеть, как моя сестра страдает из-за меня, чтобы уверовать в эту связь навсегда.

– Не плачь, – прошипела я. – Хочешь, чтобы мама обозвала тебя плаксой?

– Но тебе же больно!

Ах, если бы и мама это понимала!

– Давай в нашу комнату, чтобы мама тебя не увидела, – сказала я. – Выйдешь, когда полегчает. – Я заправила ей за ухо каштановую прядь.

Кэт шмыгнула носом, кивнула и, опустив голову, поспешно скрылась в доме. Я вошла минутой позже; наша служанка Мэйбл мыла на кухне посуду после завтрака. На Мэйбл была выгоревшая мятно-зеленая униформа (комбинезон, в котором ее пышному телу было тесно – ткань между пуговицами на груди натянулась), белый фартук и *doek*¹.

В столовой мать болтала по телефону тем беззаботным, радостным голосом, который приберегала специально для своей сестры Эдит. Я не стала лезть к ней, зная, что если попрошу разрешения поговорить с тетей, мне скажут или чтобы я не вмешивалась в разговоры взрослых, или что мне чересчур нравится звук собственного голоса и стоит быть поскромнее.

– Смотри, Мэйбл, – сказала я, поднимая колено и радуясь, что в это воскресенье у нее не выходной.

Мэйбл дернулась, увидев кровь, ее руки взметнулись ко рту, отчего мыльная пена полетела во все стороны.

– *Yoh! Yoh! Yoh!* Бедняжка! Такая бедняжка! – запричитала она, словно была причиной моих страданий.

Для меня эта литания была целебнее всех пластырей мира и бальзамов, немедленно наложенных на мои раны.

– Сядь. Мне надо посмотреть. – Мэйбл опустилась на колени и, морщась, осмотрела ссадину. – Я схожу за аптечкой. – Она произнесла *аптешкой*, у нее был сильный акцент.

Слово доставило мне огромное наслаждение – мне вообще доставлял наслаждение английский “от Мэйбл”. Мне нравилось, что у нее обычные слова звучат будто на каком-то другом языке, и мне хотелось знать, так же ли говорят ее дети (которых я никогда не видела, но знала, что они круглый год живут в Кваква²).

Мэйбл принесла аптечку из судомойни, снова опустилась на колени и коснулась ссадины, комок ваты казался особенно белым на фоне ее коричневой кожи. Пропитав вату оранжевым дезинфицирующим раствором, Мэйбл принялась осторожно прижимать ее к ране, бормоча утешения, когда я пыталась отстраниться от жгучей ватки.

¹ Платок (*нидерл., африкаанс*).

² Бантустан (резервация для чернокожего населения во времена апартеида, формально они даже считались независимыми) на юго-востоке Оранжевой провинции, ЮАР. Название Кваква означает “белее белого” – из-за цвета холмов. – *Здесь и далее примеч. перев. и ред.*

– Бедняжка! *Yoh*, такая бедняжка, да? Я почти закончила. Все, уже все. Ты храбрая девочка. *Харабрая девошка*.

Я нежилась в ее внимании, смотрела, как она дует на мое колено, и удивлялась, как волшебным целительно ее щекотное дыхание. Убедившись, что ободранная коленка обработана, Мэйбл налепила на рану огромный пластырь и ущипнула меня за щеку.

– Чмок-чмок. – И она, вытянув губы, несколько раз поцеловала меня. Я задержала дыхание, пытаюсь понять, не сегодня ли мне наконец достанется поцелуй в губы. Ее рот прошелся по моему подбородку, после чего она снова поцеловала меня в лоб. – Все, вылечили!

– Спасибо! – Я быстро обняла ее и выскочила из кухни.

Когда я выходила из задней двери, меня окликнул отец:

– Конопатик! – Он сидел в шезлонге возле переносного *braai*³, стоявшего в ярком пятне солнечного света посреди бурого газона. – Принеси-ка своему старику пива.

Я снова нырнула в дом, открыла холодильник и вытащила бутылку “Касл-Лагера”. Бутылку я открыла неумело, отчего на линолеум брызнула пена, но вытирать пол я не стала. Мэйбл цыкнула мне вслед, но я знала, что она безропотно вытрет лужу.

– Вот, держи. – Я подала отцу исходящую пеной бутылку, и он тут же плеснул из нее на пробившееся за бортик гриля пламя.

– Как раз вовремя, – сказал отец, кивком показывая, чтобы я села на стул рядом с ним.

Синие глаза блеснули из-под густых волос, падавших на красивое лицо. Светлые завитки закрывали брови, а сзади волосы отросли так, что ложились на воротник рубашки. У отца были длинные ухоженные баки, которые почти сходились с пушистыми усами. Они всегда щекотались, когда я целовала отца, мне нравилось прикосновение отцовской щетины.

Я села, и он вручил мне щипцы для гриля, словно передал некую священную реликвию. Отец с серьезным видом кивнул мне, и я кивнула в ответ, показывая: я принимаю вверенную мне власть. Теперь за мясо отвечаю я.

Отец улыбнулся, когда я сунулась в дым, плывший от гриля, и тут заметил мое залепленное пластырем колено.

– Что, Конопатик, опять с кем-то воевала?

Я кивнула, и он рассмеялся. Отец часто шутил, что у него сын в теле дочери. Особенно он любил рассказывать, как я пришла домой после своего первого и единственного балетного урока, мне тогда было пять лет, в порванных колготках и с ободранными до крови ногами. Когда он спросил, как, ну как я умудрилась получить такие увечья на уроке танцев, я призналась, что упала с дерева, а на дерево я полезла, чтобы спрятаться от учительницы. Отец просто взвыл от смеха, а мать прочла мне нотацию о том, что водить меня куда-то – пустая трата денег.

Будь у отца сын, он учил бы его обращаться с *braai*. Если он и был разочарован тем, что я – дочь, то ни разу не заикнулся об этом, но всегда одобрял мои мальчишечьи замашки.

Кэт же была очень чувствительным ребенком и во многом – моей полной противоположностью. Ее тошнило от одного вида сырого мяса. Было бессмысленно учить ее премудростям приготовления безупречных стейков, или как держать кулак, чтобы отправить противника в нокаут, или как сохранить мяч в регби.

– Ладно. Теперь переворачивай *wors*⁴. Убедись, что ухватила все колбаски, и переворачивай их все вместе, иначе они слипнутся. Молодец. А теперь сдвинь отбивные в сторону, чтобы не пережарились. Ты же хочешь подрумянить их до корочки, а не спалить.

Тщательно следуя инструкциям, мне удалось приготовить мясо так, что отец остался доволен. Когда все было готово, я отнесла сковороду с мясом на стол, который Мэйбл накрыла во внутреннем дворике, выложенном плиткой. Чесночный хлеб, картофельный салат и *mielies* –

³ Гриль (*африкаанс*).

⁴ Сосиски, колбаски (*африкаанс*).

кукурузные початки – уже стояли на столе, накрытые сеткой от мух, – я нахлобучивала ее на себя, когда играла в невесту-шпионку.

– Скажи маме, что мы уже за столом, – попросил отец, садясь.

Он не сомневался, что огромные клювастые ибисы непременно спикируют, дабы стащить мясо, – они постоянно воровали еду у собак, прямо из миски, охотились и на добычу попорнее, вроде рыбы в декоративных прудах.

– Она говорит по телефону.

– Ну так скажи ей, чтоб заканчивала. Я хочу есть.

– Мы садимся за стол! – прокричала я от двери и снова шагнула во двор.

Только я села рядом с отцом, как из дома приплелась Кэт. Она смыла с лица все следы слез и улыбалась, когда мать села рядом с ней.

– Кто звонил? – спросил отец и потянулся за маслом и “Боврилом”⁵, чтобы намазать на *mielie*.

– Эдит.

Отец закатил глаза.

– И чего она хотела?

– Ничего. У нее что-то с желудком, никак не проходит, и ее сняли с рейсов, пока она не придет в норму.

– Похоже, у нее тяжкий жизненный кризис? Бедняга не сможет подавать дерьмовую самолетную кормежку на дорогущих рейсах всяким снобам. Господи, да твоя сестра способна слона из мухи сделать.

– Нет никакого кризиса, Кит. При чем тут кризис? Она просто хотела поболтать.

– Скорее уж втянуть тебя в свою драму.

– Какую еще драму? – Мать повысила голос.

Кэт переводила округлившиеся глаза с отца на мать и обратно. Потом уставилась на меня. В ее глазах отчетливо читалось: *сделай что-нибудь!*

– Да у нее все драма. – Отец тоже повысил голос. – У нее же не бывает просто мелких проблем, у нее вечно конец света.

– Не конец света! При чем тут конец света? – Мать со стуком бросила большую ложку в миску с салатом. Она зло смотрела на отца, и вена у нее на лбу начала надуваться, что не предвещало ничего хорошего. – Господи! Почему ты вечно над ней изгаляешься? Она просто хотела...

Кто-то позвонил в дверь.

Выражение на лице у Кэт было более чем красноречивым. *Спаслись!*

– Бог ты мой! – Отец швырнул нож и вилку так, что они со звоном заскакали по столу. – Посмотри на часы! Что за идиот без всяких, мать его, представлений о приличиях ломится во время воскресного ланча? – Мать встала, чтобы открыть, но отец удержал ее: – Мэйбл откроет.

– Я сказала ей, что после обеда она свободна. Велела вернуться к вечеру, помыть посуду.

Когда мать скрылась в доме, отец крикнул ей вслед:

– Если это Свидетели Иеговы, скажи, чтобы убирались, или я их перестреляю. Скажи, что у меня есть большое ружье и я не боюсь пустить его в ход.

– Интересно, кто это? – спросила Кэт.

Я пожала плечами. Ружье интересовало меня больше.

Мать вернулась через несколько минут – вся красная, с двумя книжками, которые она со стуком положила на стол перед Кэт.

– Что это? – спросил отец. – Кто приходил?

⁵ Густой мясной экстракт.

- Гертруйда Беккер.
- Жена Хенни?
- Да.
- И чего она хотела?
- Пожаловаться, что Робин, кажется, развращает ее дочь.
- Что? – Отец посмотрел на меня: – Ты что натворила, конопатая?
- Не знаю.

Мать кивнула на книги:

- Ты подарила их Эльсаб?
- Не подарила. Одолжила.
- Дала почитать, – поправила меня мама.
- Да. Дала почитать.

Отец потянулся через стол и взял книги.

– “Волшебное дерево” и “Великолепная пятерка”, – прочитал он. – Книги Энид Блайтон?

– Да. По-моему, Гертруйда оскорбилась по поводу некоторых слов и недвусмысленно дала мне понять, что Робин оказывает на ее дочь дурное влияние и что она не хочет, чтобы Робин впредь играла с Эльсаб.

– Каких слов? Что эту дуру не устраивает?

Мать помолчала, потом ответила:

- Слова “члены великолепной пятерки”.
- Ты что, серьезно?

Мать кивнула:

– Да. Она сказала, что подобной мерзости не место в доме у христиан.

Отец загоготал, мать тоже засмеялась. Они просто животики надрывали, и настал мой черед в недоумении взглянуть на Кэт. Я не понимала, что их так насмешило.

Я не хотела расстраивать Эльсаб или миссис Беккер, я просто собиралась затеять собственное тайное общество, как у ребят из книжки. Хотела разгадывать запутанные дела и чтобы у нас было секретное место, хотела выдумывать экзотические пароли про булочки с кремом и корзинки с вареньем – пароли, которые никто никогда не угадает. Но увы, все девочки в нашем Витпарке, белом районе Боксбурга, были из африканеров и, насколько я могла судить, интересовались исключительно игрой в дочки-матери. Все это – готовить еду, вязать, шить, печь, присматривать за вопящими грудничками и орать на пьяных мужей, которые в ночи заявлялись домой после вечеринок на шахте, – меня не привлекало. Но мне хотелось расширить их горизонты, показать им весь тот неведомый мир, которого они себя лишали.

– Я просто хотела, чтобы она и другие девочки прочитали книжки и вступили в мою Великолепную Семерку, – сказала я. – Пока там только мы с Кэт. Нужно еще пять.

– Да пошли они. – Отец взъерошил мне волосы. – Вы вдвоем можете учредить Сладкую Парочку. А еще лучше – забудьте про девочек и играйте с мальчишками.

Мать снова закатила глаза, но хорошее настроение еще не улетучилось, и мне не хотелось испортить его жалобами, что ни один мальчик не захочет играть со мной. Мать не любила нытья и всегда говорила: не закливайся на плохом, надо думать о хорошем.

– Пап, а где твое большое ружье?

– В смысле?

– Большое ружье. Из которого, ты сказал, что перестреляешь Свидетелей Иеговы.

– Да я пошутил, Конопатик. Нет у меня ружья.

– А-а... – Какое разочарование! Я-то надеялась, что упоминание о ружье поможет мне заинтересовать мальчишек. – А может, тебе нужно завести ружье.

– Зачем?

– Папа Пита сказал, что *черномазые падлы* собираются перебить нас во сне, потому что мы *слабаки*. Он сказал, что если у нас нет ружей, то нас запросто нагнут и засадить в дупло, как *гомосекам*.

– И когда же он такое сказал? – спросил отец.

Мать же велела мне никогда больше не произносить “*падлы*” и “*гомосеки*”.

– На днях, когда я играла с собаками. А что этим гомосекам засаживают и в какое дупло?

– На сегодня вопросов хватит.

– Но...

– Никаких “но”. – Он коротко глянул на мать, и оба снова захрюкали от смеха. – Беседа окончена.

Это было самое обычное воскресенье, как ни посмотри. Мои родители поссорились, потом помирились, потом опять поссорились, они переходили от вражды к союзничеству так гладко, что невозможно было уловить момент, когда линии пересекались и накладывались одна на другую. Кэт безупречно исполняла роль тихого дублера, чтобы я могла занять свое место в свете рампы, играя роль главной в нашей паре. Я задавала слишком много вопросов, я то и дело пробовала границы на прочность, а Мэйбл кружила, как благосклонный дух, готовый в любую минуту прийти на помощь.

Единственное отличие от других воскресений было в том – но я об этом еще не знала, – что часы уже начали отсчитывать время. Всего через три дня я потеряю трех самых важных для меня людей.

2

Бьюти Мбали

14 июня 1976 года

Транскей⁶, Южная Африка

Моя дочь в опасности.

Я просыпаюсь с этой мыслью, она подгоняет меня, и я одеваюсь быстро. До рассвета еще два часа, и в хижине чернота оттенка горя. Обычно я двигаюсь в темноте, по памяти огибаю циновки, на которых спят мальчики, но сейчас мне нужен свет, чтобы закончить сборы.

В замкнутой тишине хижины спичка со скрежетом чиркает о шероховатый бок коробка, и моя тень вырастает, словно встает на молитву, когда я зажигаю свечу и ставлю ее на пол возле чемодана. Тягучий запах серы, ежедневный запах, который всегда пробуждал во мне мысль о рассвете, сейчас ощущается как дурное предзнаменование. Я дышу через рот, чтобы не чувствовать этого запаха, запаха страха.

Я двигаюсь тихо, но все же не совсем беззвучно. Наши круглые жилища полностью открыты в пределах глинобитной стены, которая отгораживает их от внешнего мира. Над нами не выгибается потолок, отделяя тростниковую крышу от саманного пола. Перегородки не разделяют общее пространство, не разводят нас по разным комнатам. Наши дома не имеют границ, как не имел когда-то границ этот мир; в то время не было ни стен, ни крыш – кроме тех, что укрывали от непогоды. Мой народ не понимает, что такое частная жизнь, и не желает ее; все мы свидетели жизни других, нам хорошо и спокойно, когда наша собственная жизнь проходит на глазах у других. Есть ли подарок дороже, чем сказать человеку: я вижу тебя, я слышу тебя, ты не одинок?

Вот почему, как бы тихо я ни двигалась, оба моих мальчика просыпаются. Квези смотрит, как я сворачиваю камышовую циновку; в его глазах отражается пламя свечи. Ему тринадцать – мое младшее дитя. Он не помнит ни того дня, десять лет назад, когда его отец ушел в Йоханнесбург добывать золото на шахте, ни жутких месяцев предшествовавшей этому засухи. Он не помнит, как постепенно опускались плечи гордого мужчины, наблюдавшего, как голодают его семья и его скот, но Квези достаточно взрослый, чтобы понимать страх от того, что еще один член твоей семьи растворяется в голодном городе.

Я улыбаюсь, чтобы приободрить его, но он не улыбается в ответ. Его худое лицо серьезно; он бессознательно тянется потрогать яркую заплатку над ухом. Рябое пятно розовой кожи в форме дерева акации, оно напоминает о давнишнем падении в огонь. По особой причине Господь наградил моего мальчика родимым пятном там, где Квези его видеть не может, зато мне отметина так и бросается в глаза. Родинка служит напоминанием, что предки дали мне с этим мальчиком второй шанс, – шанс, которого меня лишили, когда я не сумела защитить от беды Мандлу, моего первенца. Я не могу потерять еще одного ребенка.

– Мама, – шепчет Луксоло со своей циновки, напротив младшего брата. Он как в саван завернулся в серое одеяло, чтобы уберечься от утреннего холода.

– Что, сынок?

– Можно мне с тобой? – Он попросил об этом еще вчера, когда я получила письмо от брата.

⁶ Республика Транскей, бывший автономный регион банту у восточного побережья ЮАР.

Чтобы добраться сюда из Зонди, района Соуэто⁷, где живет мой брат Андиль, мятый желтый конверт, на котором стоит мое имя – Бьюти Мбали, проделал длинный извилистый путь.

Наша деревня столь мала, что у нее нет даже официального названия и она не обозначена на карте Транскея, так что у нас нет почтового сообщения с деревнями, приютившимися у подножия холмов нашего бантустана. Когда письмо покинуло руки моего брата, почтовая служба по проселкам в колдобинах доставила его в Йоханнесбург, сердце Южной Африки, а потом повлекла на юг, по гудронным шоссе Трансвааля, через реку Вааль – и в Оранжевую республику⁸.

Дальше оно отправилось на юг, через укрытые туманом Драконовы горы, все на юг, на юг, зигзагами по серпантинам до самого Питермарицбурга, потом свернуло на запущенные, в трещинах, дороги, которые и привели его в почтовое отделение Умтаты, столицы Транскея.

На этом путешествие письма не закончилось, ему еще предстояло переходить из рук в руки – от жены начальника почты в шотландскую миссию в Цгуну⁹, что в тридцати километрах (мне бы понадобилось шесть часов, чтобы пройти их, но белой женщине хватило сорока минут в мужниной машине), к чернокожей уборщице, работающей в миссии, а потом к владельцу индийского *кабачка*. Последний отрезок пути письмо преодолело вместе с Ямой, девятилетним пастухом, который пробежал три километра по пыльным тропкам до моего класса, чтобы гордо вручить мне конверт.

Я не знаю, долго ли конверт одолевал путь в девятьсот километров от черного городского района до черного бантустана, чтобы принести мне предостережение, – почтовый штемпель был смазан, а Андиль, торопясь, не написал дату. Надеюсь, я не опоздаю.

– Мама, возьми меня с собой, – снова просит Луксоло.

Оспаривать мое решение заставляет его лишь страстное желание испытать себя в роли главы дома. Ни по какой другой причине он не рискнул бы на подобную непочтительность. Луксоло всего пятнадцать, но он старается исполнять в нашем доме обязанности взрослого мужчины. Он верит, что защищать женщин семьи – такая же его обязанность, как пасти скот, наше средство к существованию. Сопровождая меня в путешествии, он оградит сестру от опасностей, позаботится, чтобы мы с ней вернулись домой невредимыми.

– Ты нужен здесь, в деревне. Я найду Номсу и приведу ее домой. – Я отворачиваюсь, чтобы он не увидел тревоги в моих глазах и чтобы самой не видеть его уязвленной гордости.

Библию я укладываю последней. Черная кожаная обложка измучена за те бесконечные часы, что я баюкала книгу в руках. Я прячу письмо брата между тонкими, как надежда, страницами, хотя уже выучила наизусть самую тревожную часть письма.

Сестра, приезжай немедленно. Твоя дочь в большой опасности, я боюсь за ее жизнь. Я не могу обеспечить ей защиту. Если она останется – кто знает, что с ней случится.

Я смаргиваю видение: Андиль судорожно выводит свои каракули, чернильные брызги оседают на строчки, как пепел от пожара в *veld*¹⁰, левая рука Андила елозит, смазывая написанные слова. С видением приходит воспоминание: мать суеверно шлепает его по пальцам вет-

⁷ Соуэто – район на окраине Йоханнесбурга, скопление поселков, во время апартеида там принудительно жило черное население города.

⁸ Оранжевая республика (сейчас Оранжевая провинция) была основана голландскими поселенцами-бурами, впоследствии вошла в Британскую империю, в эпоху апартеида на ее территории был создан небольшой бантустан Кваква (в настоящее время часть провинции Фри-Стейт).

⁹ Цгуну (Qunu) – деревня в Восточно-Капской провинции (ЮАР). В ней вырос и провел последние годы жизни Нельсон Мандела (1918–2013), президент ЮАР после падения апартеида.

¹⁰ Вельд (*нидерл.*) – засушливые поля в Южной Африке, в долине между реками Лимпопо и Вааль, ступенями они с одной стороны поднимаются к Драконовым горам, а с другой спускаются к пустыне Калахари.

кой, когда он тянется за чем-нибудь неправильной рукой. Она так и не смогла вышить из него леворукость, как ни старалась, – так же, как не смогла загасить мою жажду знаний или мои амбиции. Так же, как я не смогла избавить Номсу от ее упрямства.

Повязав на голову *doek*, я влезаю в туфли. Они такие же неудобные и жесткие, как западные обычаи, которые предписывают облачаться в эту форму. Здесь, в бантустане, я всегда хожу босиком. Даже в школьном классе, где я веду уроки, мои подошвы соприкасаются с земляным полом. Но если я задумала вылазку на территорию белых, то придется надеть одежду белых.

Я расстегиваю молнию вышитого кошелька и проверяю сложенные банкноты. Как раз хватит на маршрутки и автобусы, направляющиеся на север. На обратный путь придется взять займы у брата, а этот долг мы едва ли можем себе позволить. Я сую мягкий кошелек в лифчик – еще одно призванное ограничивать свободу западное изобретение – и в мыслях молюсь, чтобы меня не ограбили в пути. Я чернокожая женщина, которая путешествует одна, а чернокожая женщина всегда самая легкая жертва в пищевой цепочке.

В отдалении кричит петух. Пора. Я протягиваю руки к сыновьям, и мальчики молча выбирают из постелей, чтобы обнять меня. Я прижимаю их к себе крепко-крепко, не желаю отпускать. Как много я хочу им сказать! Я хочу донести до них слово мудрости и напомнить о житейских мелочах, но не хочу пугать долгим прощанием. Проще сделать вид, что я уезжаю ненадолго и вернусь до темноты. Еще важно, чтобы Луксоло знал: я не сомневаюсь, что он сможет позаботиться и о брате, и о нашем скоте, пока меня нет; я не стану умалять его стараний наставлениями быть осторожным и внимательным. Он знает, что надо делать, и делает это хорошо.

– Мы с Номсой скоро вернемся, – говорю я. – Не волнуйся за нас.

– А ты, мама, не волнуйся за нас. Я обо всем позабочусь. – Луксоло хмур. Он стойко выдерживает свою новую ответственность.

– Я не стану волноваться. Вы оба хорошие мальчики и скоро превратитесь в сильных мужчин.

Луксоло высвобождается и кивает, принимая комплимент. Квези не хочет отрываться от меня. Я целую его в голову, мои губы касаются родимого пятна.

– Пospите еще часок.

Луксоло и Квези послушно возвращаются на циновки, как положено хорошим мальчикам.

Закутавшись в покрывало, я выхожу в рассвет и начинаю спускаться по узкой тропе. Запахи дыма и навоза тянутся вверх, будто прощаясь со мной. В тишине сверчки трещат нестройное “пока!”. В холодном лунном свете видно мое дыхание; облачка воздуха, словно привидения, плывут передо мной, указывая дорогу, и я иду за ними, как иду за призраком моей дочери, вниз по песчаной тропинке. Мои ноги ступают там, где ее ноги прошли семь месяцев назад, когда она променяла нашу сельскую жизнь на городское образование.

Я пытаюсь вспомнить, как она выглядела в день расставания, но на ум приходит воспоминание о ней пятилетней. Наша тростниковая крыша нуждалась в починке, и мне пришлось взяться за *пангу*¹¹, чтобы нарезать длинной травы. Боясь, что дети попадут под широкое лезвие, я отправила их в *крааль*¹², посмотреть на родившегося ночью ягненка. Трехлетний Луксоло бежал, пытаясь поспеть за сестрой, и я занялась сбором тростника.

Когда крик прорезал пространство над полями, вспугнув стаю воробьев, я уронила *пангу* и кинулась со всех ног. К тому времени, как я добежала до *крааля*, – две женщины успели раньше меня – крик превратился в пронзительный визг. Но сквозь этот крик пробивался еще более жуткий звук; я не могла понять, что это, пока не миновала последнюю хижину.

¹¹ Разновидность мачете, распространенная среди бантуязычных племен Африки.

¹² Загон для скота.

Номса, расставив короткие ножки, стояла в позе бойца. Стояла между Луксоло и небольшим шакалом, который скалился и рычал, из пасти капала пена. Зверь был явно бешеный.

Номса потрясала кулачком; животное – странно, плечом вперед, – двигалось к ней. Номса дотянулась до камня и, прежде чем я рванулась вперед, швырнула его с такой силой, что камень угодил шакалу прямо в голову, и животное отпрыгнуло в сторону. Подобравшись к ним, я схватила обоих детей, женщины криками погнали шакала прочь. Номсу трясло от страха. Моя дочь, всего пяти лет от роду, отчаянно сражалась с хищником, защищая младшего брата. Я ожидала увидеть у нее в глазах слезы, но увидела торжество.

Я прогоняю воспоминание и пришедшую с ним тяжесть. Еще шесть километров пешком по пыльной тропинке – и я добираюсь до главной дороги возле Цгуну. Цгуну – поселок вроде нашего, он утонул в заросшей травой долине, окруженной зелеными холмами; в нем проживают несколько сотен человек. Говорят, у подножия этих холмов вырос Нельсон Мандела, так что здешней почве предназначено родить величие. И, может, ее прикосновение к моим ногам принесет мне удачу.

В Цгуну я должна сесть на первую маршрутку, которая увезет меня из-под защиты бантустана Транскей в провинцию белых людей, Наталь, на четыреста километров на северо-восток, через поля сахарного тростника и кукурузы, через Кокстад в Питермарицбург. Потом мне надо будет двинуться на север, через центральную часть страны, через Драконовы горы, а там – к Йоханнесбургу.

Путешествие уведет меня из сельской идиллии, где время остановилось, в город, основание которого подрагивает от взрывов динамита на золотых шахтах, а верхушки трясутся от гроз, разрывающих небо. Почти тысяча километров протянулась от наших мест до Соуэто нитью страха и сомнений, но я стараюсь не думать о расстоянии, держа чемодан подальше от тела, чтобы он не бил по ноге.

Я иду за утренней звездой, жду рассвета – это мое любимое время, а вот Номса больше любит закат. В Африке не бывает долгих сумерек, не бывает мягкой вечерней зари, когда день расслабленно опускается в ночь, не бывает нежного обмена любезностями между светом и тенью. Ночь падает внезапно. Если вы внимательны и не склонны к рассеянности, то можете почти физически ощутить момент, когда дневной свет выскальзывает у вас из пальцев, миг – и вы уже сжимаете чернильную гущу, которая и есть ночь южнее Сахары. Это резкий выдох дня, вздох облегчения. Восход – совсем не то, это мягкий вдох, затянувшееся действие, день словно готовится к тому, что будет. Как я сейчас должна приготовиться к тому, что ждет меня в Соуэто.

Едва я сворачиваю в долину, на извилистую тропинку, как меня окликает тонкий голосок:
– Мама!

Слово ширится в притихшей безгрешности утра, его поглощает туман, одеялом покрывающий ложе реки. Я думаю: наверное, голос пригрезился мне, наверное, я наколдовала голос дочери, который через всю страну взывает о помощи. Но я снова слышу:

– Мама!

Я оборачиваюсь, смотрю на тропу, по которой прошла, и различаю, как кто-то вприпрыжку несет ко мне. Квези двигается уверенно, как горный козлик. Несколько минут – и он уже рядом со мной, пар от нашего усиленного дыхания смешивается, когда мы поворачиваемся лицом друг к другу.

– Ты забыла еду. – Квези подает мне мешочек, в который я завернула накануне жареные *mielies* и куски курятины. – Проголодаешься.

Он так похож на отца – на юношу, которым был его отец до того, как золотые рудники отняли у него радость, разрушили ее, – и беспечно улыбается. Сердце у меня плавится от любви.

– Ты приведешь Номсу домой? – спрашивает он, и я киваю, потому что не могу говорить. – Ты вернешься?

Я снова киваю.

– Обещаешь, мама?

– Да. – У меня выходит задушенный всхлип, вспышка чувства, отнятая воздухом, но это обещание. Я приведу Номсу домой.

3 Робин

15 июня 1976 года

Боксбург, Йоханнесбург, Южная Африка

Что-то щекотно прокладывало путь по моей руке, но я не хотела отвлекаться от наружного наблюдения. Я не считала это что-то помехой моей сверхсекретной шпионской миссии, пока оно не остановилось, чтобы отхватить шматок моей кожи.

– Ай! – Я уронила бинокль, схватилась за мягкую плоть предплечья и обнаружила, что мною закусывает красный муравей.

Сбив его щелчком, я оглянулась. Кэт лежала на песке животом, опираясь на локти, – в такой же позе, как я.

– Посмотри, что ты натворила, – прошипела я. – Из-за тебя мы легли в гнездо красных муравьев.

Кэт глянула на массу, роившуюся под нами в песке, и посмотрела на меня, глаза ее округлились от страха.

– Извини!

– Извинения не помогут, чучело. Полюбуйся – на нас напали! Быстро, уходим, пока мальчишки не появились.

Мы отряхнулись и, пригнувшись, побежали к другой точке, наблюдательному пункту ничуть не хуже, но расположенному гораздо ближе к арене действий, чем мне хотелось бы.

Мы пробрались на место встреч мальчишек, в огромный отвал через дорогу от нашего пригорода. В поселке Витпарк селились шахтеры с близлежащей шахты Витбок, которая выделяла деньги на жилье, так что все мы жили вдоль владений шахты. После того как золото извлекали из породы, оставалась только гора песка, и это соседство было неотъемлемой частью всего шахтерского образа жизни, как говорил мой отец. Видимо, шахте недостаточно спускать людей в самое брюхо земли, жаловался он, надо еще заставить любоваться на ее кишки с собственного заднего двора.

В зимние месяцы отвал с восьмиэтажный дом казался песчаным цунами, грозившим засыпать нас с головой. Весной, когда ветер дул почти непрерывно, на отвале вырастали чахлая трава и всклокоченные кустики, похожие на полипы, неспособные удержаться на почве, как бы яростно они за нее ни цеплялись. В эти месяцы с отвала волнами сыпал мелкий белый порошок, он покрывал дома, лужайки, машины – ничто снаружи не могло укрыться от этой напасти, – а потом проникал в оконные щели, чтобы набиться в уголки наших глаз, пока мы спали.

Смыть эту пыль могли только дожди, а летняя жара заставляла отвал мерцать, как мираж, и он становился золотым, волшебным. Именно тогда он звал к себе настойчивее всего – сирена коварно манила нас загадками своих расщелин и стволов.

Конечно, нам не разрешалось играть на отвале. Нам не разрешалось даже подходить к нему, это было строго запрещено, потому что опасно. Там регулярно случались оползни, можно было сломать шею или задохнуться насмерть. Мы пересказывали друг другу байки о детях, которые спускались в туннели и никто их больше не видел, и о призраках шахтеров, которые погибли под землей и теперь рыскали внутри отвала, обуреваемые жаждой мести. Родители предупреждали нас, что в отвале ночуют чернокожие бродяги, которым ничего не стоит убить белого ребенка. Ни одна из этих историй нас не удерживала. У кейптаунских детей была Столовая гора; у нас были породные отвалы Ист-Рэнда, где разворачивались наиболее захватывающие эпизоды нашей жизни.

– Быстро, прячься! Я их слышу, – прошипела я.

Мы нырнули в высокую траву и пригнули головы, слыша, как мальчишки пробираются по тропинке к горной выработке.

Они встречались здесь почти каждый день после школы, и мне до смерти хотелось знать, что они затевают. Их было шестеро, от восьми до двенадцати лет, и они называли себя *Die Boerseun Bende*, в вольном переводе – “Банда юных африканеров”. Мне отчаянно хотелось присоединиться к их группе, и я сочла, что если буду знать, какие обязанности накладывает членство в банде, то смогу хотя бы подать заявку на вступление.

Я знала, что мои шансы не особенно высоки. Мальчишки принимали меня в свои игры всего дважды: когда меня позвали быть воротцами (не вратарем, заметьте) в крикете и еще когда я по глупости согласилась испытать одно из их изобретений – на тот момент это был громадный скейтборд с ручным тормозом. Хитроумное изобретение оказалось не слишком хитроумным, о чем свидетельствуют шрамы у меня на коленях.

В обоих случаях я не показала истинного характера; чтобы явить свои блестящие достоинства, мне нужны были только правильные обстоятельства, так что я неделями пыталась дознаться, чем мальчишки занимаются, когда исчезают на отвале. Следовать за ними не получалось – мальчишки сообразили насчет моих намерений и постоянно проверяли, не иду ли я за ними. В конце концов, вдохновленная своими героями из книжки, Великолепной Семеркой, я решила устроить наблюдательный пост – лучший способ шпионить за “бандой африканеров”.

Кэт я разрешила увязаться за собой при условии, что она будет вести себя тихо и не станет ныть. Надо было бы добавить и второе условие – не прятаться в опасных для жизни укрытиях, но век живи, век учишься.

Пока мы лежали, пытаясь слиться с ландшафтом, Пит Беккер шагнул с тропинки к огромному трухлявому стволу, почти целиком перекрывшему выровненную выработку. Пит был босиком, в белых шортах и зеленой трикотажной кофте для регби с длинными рукавами, остальные в его отряде были одеты так же. Мальчишки-африканеры, кажется, не чувствовали холода и могли ходить босыми все зимние месяцы.

– Где всё? – спросил Пит на африкаанс.

Я понимала этот язык, потому что нас заставляли учить его в школе, а еще потому, что большинство наших соседей по шахтерскому поселку были африканерами.

– В бревне, – ответил Вутер, тоже на африкаанс. – С той стороны.

– Ну так чего ждешь? Вытаскивай.

Я решила приподнять голову, чтобы лучше видеть, уперлась подбородком в ладонь. Отцовский бинокль (когда мы были в Дурбане, отец говорил, что рассматривает в него корабли, но на самом деле он разглядывал дамочек на пляже) оказался бесполезным: мы подобрались слишком близко.

Вутер лег на живот и сунул руку в бревно. Вытащил белый пакет и вручил его Питу. Тот достал оттуда *кошку*, после чего передал мешочек следующему. *Кошкой* называлась африканерская рогатка. Такие рогульки бывали довольно опасны, если в качестве боеприпасов использовались желуди, и смертоносны, если в ход шли камни.

– Поставь мишени, – распорядился Пит.

Один из мальчишек, Марнус, опустил на землю тяжелый на вид мешок и начал извлекать из него разнообразные пустые емкости. В основном жестянки и бутылки из-под пива “Лайон” или “Кэсл”, а также миниатюрные бутылочки из-под джина и водки “Смирнофф”.

Я открыла рот, опознав в крохотных бутылочках те, что мы выбросили. Моя теть Эдит работала стюардессой на “Южноафриканских авиалиниях” и приносила моим родителям маленькие бутылочки с алкоголем, которые тибрила в самолетах и гостиничных номерах. Меня возмутило, что Марнус рылся в нашем мусоре.

Марнус выстроил десять бутылок и жестянок в ряд на бревне, и мальчишки заняли позиции. Тогда-то я и поняла, насколько неудачна наша диспозиция. Мы с Кэт лежали в нескольких метрах позади ствола – камни полетят точно в нашем направлении.

Я коротко глянула на Кэт и жестом велела ей пригнуться. Повторять не понадобилось: Кэт прикрыла голову руками. Настала зловещая тишина – Пит натягивал резинку рогатки, – а потом послышался дьявольский щелчок: катапульта пришла в действие. По жутковатому свисту я поняла, что камень уже в воздухе, а потом брызнули осколки – это снаряд ударил в цель. Послышались торжествующие вопли, и через несколько секунд вокруг нас уже градом сыпались камни: мальчишки вступили в игру.

К счастью, Кэт удалось избежать прямых попаданий, иначе она наверняка завизжала бы – в отличие от меня. Здоровенный голыш угодил в подошву моего *takkie*¹³ и отскочил, еще один камень, более острый и неровный, царапнул палец. Боль была ужасная, мне понадобилась вся до капли сила воли, чтобы не заплакать, когда выступила кровь. Я не позволю какой-то ране помешать мне выполнить миссию.

Слава богу, довольно скоро мальчишки разбили все мишени, шум и пыль улеглись.

– Во что теперь будем палить? – спросил Вунтер.

– Можно посоревноваться, кто дальше выстрелит.

– Нет, скучно. Надо что-то позабористее.

– Например?

Какое-то время все молча прикидывали.

– Птицы, – предложил Пит. – Давайте стрелять по птицам.

Но птиц не было. В кои-то веки деревья и небо оказались свободны от пернатых созданий, и я была благодарна за отсрочку в исполнении приговора. Мальчишкам уже начало надоедать глазеть вверх, когда с тропинки, по которой они пришли, послышался шорох.

– Ш-ш, что это? – спросил Пит.

Шелудивая кошка впрыгнула в выработку и метнулась к бревну. Где-то поблизости залаяла собака, кошка развернулась и вздыбила шерсть, изготовившись к атаке. Она яростно зашипела, а когда преследователь не появился, юркнула в дупло.

Я поняла, что надумал Пит. Медленно подняв рогатку и прицелившись в другой конец полого бревна, откуда могла появиться кошка, он прижмурил один глаз, потуже оттянул резинку.

– Нет! – Вскочив, я сообразила, что это мой крик.

Потрясенный Пит отпустил резинку, и камень перелетел через бревно. Едва камень коснулся земли, кошка метнулась прочь, а Пит испустил вопль разочарования, еще сильнее подстегнувший несчастное животное.

Инерция гнева толкнула меня к Пити, но защищать было уже некого, а я вдруг оказалась легкой мишенью для разозленных мальчишек.

– Она шпионила за нами! – заорал Вунтер, и остальные подхватили вопль, давая волю своему гневу, так и рвавшемуся наружу.

Я попыталась заговорить на их языке, надеясь, что это утихомирит их злость.

– *Ek is nie'n sampioen nie!*

Мальчишки воззрились на меня как на пациентку психушки, а потом захохотали и о чем-то наперебой заговорили. Я подумала сначала, что их развеселило мое беспардонное вранье, но тут же сообразила, что перепутала “шпионить” и “грибы” на африкаанс.

– Я хочу в вашу банду! – попыталась я перекричать их гогот.

Пита настолько возмутило это заявление, что он перестал давиться от смеха и даже перешел на английский.

¹³ От *tekkie* – спортивные туфли (*африкаанс*).

– Хотлешь в наша банда? Это врятт ли. – Он говорил с твердокаменным африканерским акцентом, с раскатистыми “р”.

– Почему?

– Ты *meisiekind*. – Как будто быть девочкой – худшее, что с тобой может случиться. – Иди играй з другими девотшки.

– Я не хочу играть с девочками. Хочу с вами, хочу быть одним из мальчиков. – Я не стала упоминать, что его матушка запретила мне играть с его сестрой.

– Но ты же *rooinek*¹⁴, – брызгая слюной, выплюнул Пит. Его тон ясно давал понять: быть из англичан даже похуже, чем быть девочкой.

Я знала, что африканеры ненавидят англичан из-за какой-то там Бурской войны, но не придавала этому большого значения. С тех пор как англичане и африканеры рвались убивать друг друга, прошло почти сто лет, и взаимная ненависть к 1976 году уже должна была бы поутихнуть, да вот, похоже, не поутихла.

Видимо, африканеры так и не смирились с поражением в войне, как не смирились с тем, что их женщины и дети оказались запертыми в первых в истории концлагерях, да еще во власти британцев. Если я что и усвоила в раннем детстве, то это что у африканеров хорошая память и они всерьез умеют затаить злобу.

– Уходи, пока я не кинул тебя этим камнем! – приказал Пит, поднимая очередной снаряд.

– Ты имеешь в виду, что хочешь кинуть камень в меня, а не зарядить мной камень и выстрелить из него.

Мальчишки вдруг разом потянулись к камням, и я поняла, что урок родной речи окончен. И бросилась бежать; пыль вздымалась вокруг, оседала на мне толстым слоем – уликой, которую обязательно надо будет смыть. Уже почти у дома, задыхаясь, сгорая от унижения, я вспомнила про Кэт. Меня чуть не линчевали – а она сидела тише воды. И что тут удивительного. Я ведь прозвала ее Трусишка Кэт.

Я подумала, не вернуться ли за ней, но сочла, что только выдам ее. Все с ней будет нормально. Никто лучше Кэт не умел обращаться в невидимку, если на нее нападала охота поиграть в прятки.

¹⁴ От английского *redneck* (деревенщина); в Южной Африке так называют всех, кто говорит на английском языке.

4

БЬЮТИ

15 июня 1976 года

Питермарицбург, Южная Африка

– Сколько еще, мама? – Фелиса вздыхает и отворачивается от окошка, затуманенного ее дыханием.

Она напоминает мне Номсу, хотя пухлее, и на лице у нее выражение покорности, какого я никогда не видела у дочери. Может, из-за того, что они ровесницы, или же просто потому, что я могу думать лишь о дочери, любой пустой холст показывает мне мои воспоминания.

К девушке припал младенец, его голова покоится на подушке ее груди, а ручки обнимают за шею – малыш висит на ней. Иногда он с неожиданной силой пинается, младенческие ножки бьют меня по животу, словно ребенок сражается со своими снами. Я завидую ему. Как бы мне хотелось уснуть. Как бы мне хотелось замедлить барабанные удары моего лихорадочно бьющегося сердца, усмирить дикий полет мыслей, которые мечутся кругами, словно летучие мыши в сумраке.

– Мы уже больше двух часов сидим здесь, – говорит Фелиса, похлопывая сына по спинке, успокаивая его, чтобы он не пробудился от собственной егозливости. – Сколько еще? Когда мы поедем дальше?

– Не знаю, девочка моя, – вздыхаю я. – С ожиданием надо смириться; если мы будем нетерпеливы, время просто потянется медленнее. – Не в первый раз я говорю ей это.

Прошло уже двадцать восемь часов с тех пор, как я смотрела на Квези, вприпрыжку спускающегося по склону холма назад, в деревню, – больше суток прошло с тех пор, как я оставила простор нашего дома ради тесных, обшарпанных маршруток, и сколько я их уже сменила. Мы стоим на обочине возле автозаправки, где-то на подъезде к Питермарицбургу, нас уже набилось в машину, как скота, но мы ждем новых пассажиров. Водитель не хочет трогаться с места, пока еще четверо пассажиров не втиснутся в хвост салона, где могут разместиться лишь двое. Так было всю дорогу – больше ожидания, чем движения.

Девушка хмуро смотрит на меня, словно я – та проблема, с которой ей нужно справиться.

– Мама, я все думаю... ты ведь на самом деле не одна из нас?

– О чем ты, моя девочка? Я родилась здесь – так же, как ты. – Мы говорим на языке коса, нашем родном языке, и обе едем из Транскея – бантустана коса. Я знаю, что смогла бы показать ей связь ее клана с моим, задав всего пару вопросов, но у меня нет сил на обычные любезности.

– Я только хочу сказать, мама, что ты не как все мы. Ты отличаешься от нас. Тем, что и как ты говоришь.

Девушка имеет в виду, что я говорю как образованная, тогда как большинство моих соплеменников не умеют написать собственное имя. Я и раньше много раз слышала это суждение – что хотя я черная, бедная и угнетаемая белыми, как и весь мой народ, но я все же иная; иногда об этом говорят с восхищением и уважением, чаще – с осуждением. Я никогда не пойму, почему мы относимся друг к другу столь пренебрежительно, почему так боимся, что один из нас поднимется над своим положением вопреки всем стараниям белого человека. Черная женщина с самого рождения отлично знает свое место, и нет нужды напоминать ей о нем.

– Я учительница, – объясняю я.

– *Nayibo!*¹⁵ – Фелиса улыбается. Ее забавляет мысль, что женщина – учитель. – Мой учитель был мужчиной. Я доучилась до второго класса.

¹⁵ Здесь: “Да ладно!” – возглас недоверия (*зулу*).

По ее застенчивой улыбке я понимаю, что она горда этим достижением. Девочка умудрилась задержаться в школе до девяти лет, а потому знает алфавит, умеет писать простые слова и знакома с основами арифметики. Другого образования у нее не будет.

Я глажу ее по колену – мне слишком грустно, чтобы произнести слова похвалы, которых она ждет, и меняю тему разговора:

– Зачем ты едешь в Йоханнесбург?

– Отец ребенка работает там на шахте, но денег не присылает. Я волнуюсь.

Я киваю и не говорю того, что думаю. Если эта девочка и найдет своего мужа, у него может не оказаться денег, чтобы дать ей, а вернуться домой и заботиться о ней и о ребенке он не захочет. В бантустанах нет работы для молодых мужчин, а горнодобывающая промышленность вырывает их из родной культуры, клана и обычаев. Одиннадцать месяцев в году эти люди живут и дышат в темноте под землей, и тьма эта постепенно просачивается в их души. Свои небольшие заработки они обычно тратят на женщин, азартные игры и выпивку.

– А вы, мама? Зачем вы туда едете?

– Брат написал мне о моей дочери. Она живет с его семьей в Соуэто, заканчивает школу. Кажется, в этом районе очень беспокойно – брат пишет, что она в опасности. Вот я и хочу увезти ее домой.

Девушка кивает:

– Я слышала, что это опасное и мерзкое место. Говорят, там есть подпольные кабаки, где люди напиваются, а еще танцплощадки. Азартные игры и проститутки. Я даже слышала...

Я прерываю ее и меняю тему – мне и без полного списка пороков Соуэто забот хватает.

– Хочешь, я подержу ребенка?

– Да. Спасибо, мама. – Она с благодарностью вручает мне спящего малыша и выбирается из машины, чтобы размять ноги.

Проходит еще час, и еще двое пассажиров платят мзду. Малыш просыпается, и я передаю его матери, чтобы та покормила его. Мне надо в туалет, но я не хочу потревожить старика, который спит рядом со мной. Он сложил худые ноги и руки крест-накрест, словно пытаясь занять как можно меньше места. Его ребра вздымаются и опадают, толкая меня в руку, и сухой свист – словно ветер дует в тростнике – срывается с его губ. Я уже с трудом терплю, когда он со всхрапом просыпается.

– Прошу прощения, *tat'omkhulu*¹⁶, но мне придется потревожить вас.

Старик, шаркнув ногами, дает мне пройти и, когда я вылезая из машины, касается пальцами своей шляпы.

Две длинные фуры проносятся мимо – гравий летит из-под колес – и оставляют меня в облаке выхлопных газов. За ними следует *bakkie*¹⁷ с лодкой в кузове – наверное, направляется в Дурбан. Море отсюда примерно в ста километрах, и хорошо известно, что белые из Йоханнесбурга отправляются на побережье Наталя как минимум раз в году, в отпуск. Они проводят три недели, валяясь на пляже, плавая в теплом Индийском океане и ловя бесплатную рыбу, хотя могут позволить себе купить ее в магазине. Зачем они часами лежат на солнце, чтобы покоричневеть, если находят цвет нашей кожи столь неприятным, я не знаю.

Я никогда не видела океана, и мои представления о нем почерпнуты из фотографий в книгах и газетах. Я никогда не жила настолько близко к морю, чтобы собраться и поехать посмотреть на него, к тому же черным нельзя на пляж или в воду, так что в поездке к морю мало смысла. Я не умею плавать, но как приятно было бы забрести в воду по колено, ощутить соль на коже.

¹⁶ Отец, уважаемый (*коса*).

¹⁷ Пикап (*африкаанс*).

В одной газетной статье, что попалась мне несколько лет назад, рассказывалось о трансваальских семьях, которые на время отпуска разбивают палаточный лагерь. Наверное, им такое нравится, и это многое говорит мне о белых людях. Лишь те, кто живет в настоящих домах, кто может не бояться стихий, находят удовольствие в том, чтобы спать на улице под защитой клочка ткани.

Я с трудом пробираюсь вдоль дороги к автозаправке; с левого фланга у меня банановая плантация, по правую руку тянется поле сахарного тростника. Годовые тропические температуры в Натале благоприятны для этих культур, которые в Транскее не растут. Те части страны, где не растет ничего стоящего, отданы под бангустаны, и не случайно.

Я захожу на заправку и иду, оглябая бензоколонки, к которым через равные промежутки времени подъезжают машины.

– Прости, мой мальчик, где здесь наш туалет? – спрашиваю я молодого заправщика – тот дожидается сдачи от кассира.

Он улыбается и сдвигает зажатую в зубах спичку в угол рта.

– За домом, мама, но ты не сможешь туда зайти.

– Почему?

– Сортиры уже неделю сломаны. Здешний владелец не хочет тратить деньги на ремонт.

– А вы как обходитесь?

Парень кивает на поля позади заправки и извиняется.

Я не хочу присаживаться в поле, где меня могут увидеть люди из машин. Я не хочу исполнять роль дикаря, которой от нас ожидают. Поэтому я приближаюсь к туалету для белых, встаю в тени таксофонов и наблюдаю. Две женщины выходят из кабинок, какая-то старуха, волоча ноги, проходит в дверь. Следом за ней входят две девушки; через несколько минут все выходят. Наступает временное затишье. Мочевой пузырь у меня едва не лопается. Теперь пора проскочить внутрь; если я все рассчитала правильно, меня никто не увидит.

Едва я делаю шаг к входу, как из-за угла появляются мама с дочкой. Девочке на вид лет шесть-семь, у нее кудрявые светлые волосы, которые требуют расчески. Девочка сосет большой палец – она уже выросла из этой привычки, – а мать курит. Я замираю на пороге, делая вид, что просто заблудилась. Почки пронизывает боль; я молюсь, чтобы не обмочиться.

– Мамочка, эта черная леди не зайдет же в наш туалет? – Девочка говорит с пальцем во рту, и ее речь невнятна.

– Нет. – Мать бросает сигарету на бетон, затаптывает. – Ей нельзя в наш туалет, и она это знает. – Женщина смотрит на меня, вздернув бровь.

Обе скрываются в дверях; девочка оборачивается, чтобы убедиться, что я осталась на улице. Удостоверившись, что я помню свое место, она улыбается и машет мне свободной рукой. Натужно улыбаясь, я машу в ответ.

5

БЬЮТИ

16 июня 1976 года

Соуэто, Йоханнесбург, Южная Африка

Чтобы добраться до Соуэто, мне нужно еще двадцать два часа, два автобуса и четыре такси. Я в пути больше двух суток и за это время спала всего несколько часов. За все путешествие я не переодевалась и не нашла места, чтобы помыться или сменить белье. От меня исходит сильный запах не только собственного немытого тела, но и пота пассажиров, что прижимались ко мне в поездке.

Когда мы сворачиваем с шоссе до Йоханнесбурга, усталость сменяется любопытством. Я никогда не бывала в Соуэто, знаю о нем лишь по рассказам, и мне не терпится посмотреть, соответствует ли район своей репутации. Следуя по Олд-Почеструм-роуд, мы проезжаем больницу Барагвана, она остается слева. Это одна из самых крупных африканских больниц, которая обслуживает черное население, хотя говорят, что врачи здесь все белые. Не хотелось бы мне на собственном опыте узнать, как белый врач заботится о черной жизни в этой стране. Интересно, что перевесит: клятва спасти человеческие жизни или белые предрассудки?

Когда больница остается позади, я пытаюсь рассмотреть что-нибудь в окне, но стекло затуманено дыханием множества пассажиров. Я протираю уголок окна рукавом трикотажной кофты – и меня поражает, как же много людей снаружи. Мне говорили, что Соуэто большой, но я и представить себе не могла таких толп. Логика, а не слышанные рассказы должна была подготовить меня к его размерам.

Йоханнесбург – огромный город, здесь сотни тысяч белых людей, а белым людям нужно, чтобы черные люди работали на них. А вот чего белым людям совсем не нужно, так это чтобы те же самые черные жили рядом, угрожая их образу жизни. Так появился Соуэто. Район расположен достаточно близко к Йоханнесбургу, чтобы ездить туда на работу, но достаточно далеко, чтобы белому человеку не пришлось обонять вонь черных. И по мере того, как росла потребность в рабочей силе, – а мужчины из нашей деревни уходили искать работу в столице – рос и Соуэто.

Нигде я не видела столько себе подобных, как здесь. На улицах полно такси, машин, автобусов и пешеходов, и все лица – черные. Тележки с запряженными в них ослами, велосипедисты, тощие собаки и свободно бродящий скот с трудом прокладывают себе путь в хаосе машин. Пикап, едущий рядом с нами, битком набит клетками с цыплятами. Тут же принохивается к утреннему воздуху оставленная без присмотра свинья.

Матери пробираются между машинами, младенцы привязаны к их спинам полотенцами или большими кусками ткани. Школьники затесались в толпу женщин в форме горничных. Мужчины в комбинезонах останавливаются поговорить с мужчинами в костюмах-тройках. Огонь горит в мангалах, на которых жарятся *mielies*, и разносчики нахваливают свой товар. Шлакоблочные дома втиснуты между дешевыми гостиницами, машина моет церковь, и я понимаю истинность старой пословицы: чистота действительно соседствует с благочестием. Два гигантских цилиндра устремлены в небо из плоского пейзажа – градирни электростанции Орландо.

Шум растворяет в себе все звуки. Госпел и куэла звучат на полную громкость и перекрывают грохот грузовиков, лай собак, гоняющихся за машинами, завывания гудков, предупреждения, приветствия – голоса, зовущие кого-то в этом вавилонском смещении языков; водители такси вопят в окна своих машин, зазывая пассажиров. В этой наэлектризованной атмосфере

у меня расслабляются мышцы шеи и плеч. Несмотря на толчею и шум, я снова под защитой своего народа и чувствую себя в безопасности.

Это чувство длится лишь до поворота на Клипспрут-Вэлли-роуд, где у обочины сгрудились военные грузовики.

Таксист присвистывает от удивления.

– Здесь не всегда так? – спрашиваю я.

– Нет, *sissi*¹⁸. Наверное, что-то плохое творится.

Наша машина замедляет ход. Белые люди в военной форме, с большими ружьями через плечо, машут, чтобы мы проезжали. Дрожь страха охватывает меня, когда я вызываю в памяти слова из письма Андила: “*Приезжай немедленно. Твоя дочь в большой опасности, я боюсь за ее жизнь. Я не могу обеспечить ей защиту...*”

Я молюсь, чтобы армейские грузовики никак не были связаны с опасностью, что грозит Номсе.

Посмотрев на часы, понимаю, что она как раз ушла в школу. Я слишком долго ждала возможности увидеться с дочерью и не хочу ждать еще день, пока она вернется домой. Вместо того чтобы выйти у дома Андила, я прошу таксиста отвезти меня прямо к школе. Если мне повезет, я увижу Номсу до того, как прозвенит звонок на первый урок. Все, чего я хочу, – это обнять свою дочь и увериться, что она в безопасности.

Мы кое-как подъезжаем к остановке у школы Моррис-Исааксон. Ворота открыты – разинуты, словно беззубый рот спящего *madala*¹⁹, а этажи пустынные, за исключением нескольких бессмысленно топчущихся на месте учителей с оцепеневшими взглядами – муравьи, отделенные от своей колонии.

Я подхожу к одной из учительниц, по виду – моей ровеснице, и говорю:

– *Molo...*²⁰ – Конец предписанного обычая приветствия замирает на моих губах. Женщина так встревожена, что я не в состоянии тратить время на любезности. – Где дети, *sissi*?

– *Andazi*. Все ушли.

– Ушли? Почему?

– Они все ушли на марш.

– Марш протеста?

Женщина кивает.

– Против чего они протестуют?

– Против новой учебной программы на африкаанс. Правительство хочет, чтобы мы преподавали на африкаанс.

– А вы не знаете, где дети, где этот марш?

– Нет, но ходят слухи, что на марш вышли дети не только из нашей школы. Мы слышали, к ним присоединятся многие тысячи школьников.

Многие тысячи школьников. Я холодею от ужаса.

От группы учителей отделяется какой-то мужчина и подбегает к нам. Очки у него сверкают в утреннем свете, пиджак распахнут.

– Вдоль всей Клипспрут-Вэлли-роуд армейские грузовики.

– Армейские грузовики? – Женщина ахает.

Прежде чем мы успеваем задать вопрос, он убегает поделиться новостью с другими.

Военные грузовики и полицейские фургоны. Белое правительство готово бросить солдат против наших детей. Желудок сжимается от страха, и это мобилизует меня. Я подхватываю чемодан и выбегаю из ворот.

¹⁸ Сестра (*коса*).

¹⁹ Старик (*коса*).

²⁰ Привет (*коса*).

Вся Мпути-стрит запружена демонстрантами. Ноги у меня не гнутся, они в синяках и ссадинах после поездки; как только я прибавляю шагу, их сводит судорога. Каждый шаг заставляет меня чувствовать себя старше моих сорока девяти лет, но я иду дальше, не обращая внимания на боль.

Я догоняю, а потом и обгоняю школьников в задних рядах демонстрации, пытаюсь пробиться в центр толпы. Кто-то врзается в меня, отчего я чуть не поворачиваюсь вокруг собственной оси. Обернувшись, я вижу мальчика лет десяти, не старше.

Он улыбается, на щеках ямочки.

– Извините, мама. Я споткнулся. – Он указывает на свои развязавшиеся шнурки и отбегаёт в сторону, чтобы завязать их, товарищи хохочут над его неуклюжестью.

Три девочки передо мной, в юбках и носочках, берутся за руки и начинают прыгать. Юноши в ярких куртках и шляпах потрясают кулаками. Лица мальчиков лучатся надеждой, глаза сияют весельем. Может, они и протестуют на манер взрослых, но они всего лишь дети.

Холодный воздух кусает меня за голые руки, слабое зимнее солнце изо всех сил пытается проникнуть сквозь слой дыма, оставленный ночными кострами. Дым медлит в воздухе, этот запах – словно предупреждение о жестокости и смерти. Я бросаюсь от одной группы детей к другой, взгляд скользит по лицам девушек постарше, ища черты моей Номсы. Сердце дает сбой каждый раз, когда я замечаю ее профиль – гордо выпяченный подбородок, высокий лоб, – но это всякий раз оказывается не она. Взгляд прыгает с лица на лицо, а толпа тем временем все прибывает. Я покрепче перехватываю ручку чемодана.

Мы проходим через Мофоло, направляемся к Дьюб, я уже различаю школьную форму – она разного цвета и покроя. Учительница права. Тысячи учеников из других школ присоединяются к маршу. Меня несет вперед, со всех сторон меня толкают дети, которые размахивают плакатами с речевками, накорябанными вкривь и вкось: “Буры к черту” и “Африкаанс – это терроризм”. Я пытаюсь усмирить свое раздражение от того, что эти щиты закрывают от меня море молодых лиц, борюсь с желанием отпихнуть плакаты.

Приближаюсь к ребятам постарше, с виду ровесникам Номсы.

– Девочка моя, ты не знаешь Номсу Мбали?

– Мальчик мой, скажи, пожалуйста, куда мы идем?

Меня или вежливо игнорируют, или по-доброму советуют уйти.

– Мама, вас могут ранить.

– Мама, вам будет безопаснее дома.

В конце концов становится слишком шумно, чтобы что-либо расслышать, – толпа начинает петь. Припев “*Masibulele ku Jesu, Ngokuba wasifela*” омывает меня, по коже бегут мурашки, словно она живое существо со своими собственными чувствами. Молодые голоса текучи, их восторг струится сквозь меня. “Возблагодарим Иисуса, ибо умер Он за нас”.

Я часто пела эту песню Номсе, когда та была совсем крохой. Прошу тебя, Господи, пусть с ней все будет хорошо. У нее сердце льва, но даже лев бессилён перед ружьем белого человека.

Когда песня заканчивается, новый голос запекает другую, и толпа подхватывает, чтобы заполнить молчание: “Боже, благослови Африку. Пусть ее дух возвысится. Услышь наши молитвы. Боже, благослови нас”.

Я подпеваю. Ведь песни сопротивления в моей крови, как и в крови любого из этих детей, даже больше – я пела “*Nkosi Sikelel’i Afrika*” еще до того, как эти дети родились.

Вдруг передние ряды резко сбавляют ход, демонстранты сбиваются с ритма. Я в смятении пытаюсь заглянуть поверх детей, но обзор перекрывают плакаты. Слышится чей-то голос, усиленный мегафоном, но слов не разобрать из-за искажений.

Высокий юноша рядом со мной вытягивает шею, пытаюсь разглядеть, что происходит.

– *Ke mapolisa*. Полиция, – сообщает он.

Еще один мальчик взобрался на плечи приятеля и кричит нам вниз:

– Они сооружают баррикаду. Они пытаются не дать нам пройти к месту встречи. Они хотят, чтобы мы повернули назад!

Слова его подхватываются на разных языках. Даже если бы я не понимала зулу и сото, то поняла бы звенящий в голосах гнев. У меня перехватывает дыхание, когда я замечаю два желто-синих бронетранспортера. Присутствие здесь этих страшных бронированных машин говорит больше, чем любой плакат.

Вот уже не ропот, а крики. Напряжение нарастает. Те, кто подходит сзади, утыкаются в барьер из тех, кто перед ними; все в нетерпении, все хотят продвигаться вперед. Меня подхватывает прилив. Насилие – тварь в наморднике, она бродит среди нас, и ее того и гляди спустят с поводка.

Слава богу, кто-то пытается решить дело миром. Пожалуйста, пусть его послушают.

Толпа снова приходит в движение и разделяется на реки и ручейки, обтекающие полицейскую баррикаду по дороге к средней школе Орландо Уэст-Джуниор, которая, кажется, назначена местом встречи. Вокруг меня – неясные очертания тысяч и тысяч молодых лиц. Любое из них может оказаться лицом Номсы. Ни одно из них – не лицо Номсы.

Мне кажется, что я замечаю одного из сыновей Андила, и пытаюсь протиснуться сквозь толпу, как вдруг все резко сворачивают на Вилакази-стрит. Уровень энергии снова нарастает. Дети вскидывают кулаки и начинают кричать.

– *Inkululeko ngoku!* Свободу немедленно!

– *Amandla!* Сила!

Нас несет вперед.

И тут громкий хлопок. Скандирование переходит в пронзительные крики. В воздухе повисают кляксы кислого дыма. Какая-то емкость со стуком отскакивает от чьего-то плеча, падает передо мной. *Слезоточивый газ*. Я натягиваю кофту на лицо, пытаюсь защитить глаза и нос. Слезы льются по щекам, и их соленая беззащитность заставляет меня разевать рот. Я слепо пчусь, пытаюсь уйти от испускающей дым ядовитой жестянки. Меня толкают сзади, я по инерции ступаю вперед, падаю на другие тела и неуклюже растягиваюсь на асфальте.

Последнее, что я слышу, прежде чем мир окрашивается в черное, – выстрелы и лай. Белый человек послал против нас серебряные пули и черных тварей. Теперь нас спасет только Бог.

Придя в себя после милосердной темноты, я не слышу больше ни лая собак, ни астматического кашля винтовок. Эти звуки замерли, уступив место реквиему детских криков. Ужас и паника окружают меня, заворачивают в колючий саван. Мои глаза открыты, но я ничего не вижу. Я все еще в опасности и изо всех сил стараюсь подняться на ноги, но на плечо ложится рука и тянет меня вниз. Какой-то голос обращается ко мне, интонации настойчивы, но я не могу разобрать слов среди звуков прекрасного утра, окончившегося бойней.

Я поднимаю руку, чтобы протереть глаза, пальцы делаются влажными; странное ощущение – они словно в клейком соке листьев *ikhala*²¹. Я предпринимаю новую попытку вытереть лицо, теперь – рукавом, и обнаруживаю, что ткань в красных пятнах. Кое-как оттерев кровь с глаз, я снова могу видеть, но когда мир оказывается в фокусе, жалею, что не осталась слепа.

Я лежу не там, где упала, – не на середине улицы. Меня оттащили на песчаную тропинку метрах в двадцати от дороги. В воздухе стоит густой дым, люди беспорядочно мечутся, пытаюсь укрыться от полицейских дубинок и собак. Некоторые – немногие – не пытаются убежать, они прорываются вперед, вооруженные бутылками и кирпичами. Они отбиваются, их лица обезображены гневом.

²¹ Алоэ (*коса*).

Ко мне протягиваются две пары рук, меня ставят на ноги, я поднимаю глаза, чтобы понять – спасена я или арестована. Это руки Ланги и Думи, сыновей моего брата; им всего тринадцать и пятнадцать, и я благодарю Господа за их спасение. Они все пытаются сказать мне что-то, но в ушах стоит такой звон, что нет никакой надежды их услышать.

И я кричу, пытаюсь перекрыть шум:

– *Uphi u Nomsa?*

Они не слышат меня. Я подтягиваю Лангу ближе и говорю ему прямо в ухо:

– Где Номса?

– *Andazi*. Не знаю. – Он чуть не плачет.

Мальчик снова тянет меня за руку, желая, чтобы я шла с ними, но я не могу отвернуться от ада, открывшегося передо мной. По улице течет река крови, и в ней плывут тела детей. Они в неестественных позах, руки и ноги изогнуты под ужасными углами. Некоторые лицом вниз, тонут, а иные – на спине, открытые глаза уставились в небо; они – человеческий мусор, уносимый рекой разрушения.

Потерянные ботинки, плакаты, канистры из-под слезоточивого газа, шляпы и сумки разбросаны между телами. Посреди побоища лежит мой чемодан, он кажется реликтом, дошедшим из какой-то давней эры; армия белых людей вознамерилась собирать в него жизни черных детей, словно урожай. С отчужденным интересом я вижу, что крышка отлетела, моя одежда рассыпалась, платье пропиталось кровью. Рядом валяется, раскрытая, моя Библия, запачканные страницы весело трепещут на грязном ветерке.

Видит ли все это Бог?

Думи берет меня за руку, Ланга подталкивает сзади. Я знаю, что они хотят отвести меня в безопасное место, но не могу уйти отсюда. Я отстраняю племянников и пытаюсь обрести равновесие, пробираясь к телу, которое лежит ко мне ближе всех.

Это девочка. Школьное платье изорвано и задралось сзади, видны белые трусы. Я осторожно переворачиваю ее, одергиваю платье, возвращая ей отнятое у нее человеческое достоинство. Глаза девочки открыты, она смотрит в небо. Она не видит больше ни крови, ни жестокости этого мира – к счастью, думаю я. Она видит сейчас лучший мир – тот, где поющим голосам не отвечают пули; мир, в котором безвинных детей не убивают из-за того, что кожа их того цвета, который белые люди находят оскорбительным. Пальцами я касаюсь ее век, закрываю ей глаза.

Покойся с миром, дитя мое. Отправляйся к Богу.

С этого момента я передвигаюсь от одного тела к другому. Некоторые дети еще живы, они или тяжело ранены, или слишком напуганы, чтобы встать. Они цепляются за мои руки, просят позвать маму. Я говорю им, что мама скоро придет, что мама любит их. Я произношу обещания, которые они хотят услышать, – мне хотелось бы, чтобы и Номса услышала подобное, – и стираю кровь, грязь и слезы с их лиц. Я спрашиваю имена, я становлюсь свидетельницей.

Занеле. Двенадцать лет. Кровь сочится из уха.

Гуднесс. Ее губы дрожат, ее слезы жгут мою кожу, но она еще может улыбаться.

Кайдбоун. Пятнадцать лет. Губы блестят от вазелина.

Джабу. Четырнадцать лет. Он – старший в доме после того, как отца завалило в шахте.

Фумани. Спрашивает, не ангел ли я.

Сандека. Спрашивает, не видела ли я ее младшую сестру.

Сифо. Никогда не видел своего отца.

Клайнбой. Говорит, что опоздал в школу.

6 Робин

16 июня 1976 года

Боксбург, Йоханнесбург, Южная Африка

Я неистово крутила педали, отчаянно сражаясь за первое место. Я знала, что мой велосипед – лучший во всем районе; ни одна пара колес не сравнится с моим красным, карамельного блеска “роли-чоппером” с удлиненным сиденьем и квадратно изогнутым рулем. Мне надо только доказать, что я достойна ездить на этой машине.

Соперники шли со мной вровень, мы приближались к финишной черте. Чтобы победить, мне предстояло выложиться по полной. Я уже устала – маршрут предполагал два круга вокруг района, – но отказывалась признать себя побежденной. Второго призера не было – только первый проигравший. Я что есть сил вращала педали, ноги крутятся словно сами по себе, как крылья мельницы. Я набирала скорость, разноцветные ленточки, приделанные к ручкам, развевались на ветру, и запах разогретой резины струился вверх, приветствуя меня.

Возле почты я на волосок обошла своего ближайшего соперника, и толпа болельщиков взревела от восторга. В честь победы я отколола торжествующий проезд, встав на заднем колесе, и едва не вылетела из седла из-за камешка, попавшего под шину. Когда двадцатидюймовое колесо чуть не выскользнуло из-под меня и велосипед встал на дыбы, как испуганная лошадь, я от неожиданности забыла про фантазии. Толпы и соперники исчезли, а я медленно покатила домой в одиночестве.

Вокруг меня, кружась, словно высушенный снег, опускались хлопья пепла. Я поняла, что запах, который я приняла за запах жженой резины, на самом деле был вонью горевшего *вельда*. Этот запах обычен зимой, когда открытые пространства, окружавшие наш пригород, высыхали без дождей и окурков, брошенный из окна машины, мог в несколько секунд запалить сухую траву. Иногда я тревожилась, что наши дома – и наша привычная жизнь – задымятся, если пожар подобрется слишком близко, но отец уверял, что пожарные машины зальют огонь задолго до того, как он сможет приблизиться к нам. Пожарная служба иногда сама устраивала контролируемые пожары.

Было около шести вечера, когда я поставила “чоппер” в гараж и направилась на кухню, где Мэйбл за гладкой слушала свою “историю”. В том году ЮАР сняла наконец запрет на телевидение, но у нас телевизора не было – отец говорил, что мы не Рокфеллеры. Так что мы слушали передачи по радио, хотя и совсем другие, чем Мэйбл. Моя любимая передача была по пятницам, в полвосьмого вечера, и называлась “Патрульные машины”, – первоклассные истории про следователей из брикстонского убийного отдела и отдела ограблений. Эти ребята расследовали преступления, которые другим оказывались не под силу.

Пульс мой учащался от одной только заставки: вой полицейской сирены, визг тормозов, яростная перестрелка и тревожные звуки трубы, после которых глубокий голос Малколма Гудлинга начинал: “Они на пустых ночных улицах... мчатся на машинах, шагают пешком... их жизнь – преступления и жестокость... они – команда «Патрульных машин»”. Я с головой погружалась в очередное расследование и не сомневалась, что стоит мне явиться в брикстонский полицейский участок, как меня примут в элитную команду “Патрульных”.

Истории, что слушала Мэйбл, оставались для меня загадкой; они все были на сото, и создавалось впечатление, будто происходит массовая драка. Когда я спрашивала Мэйбл, почему черные так кричат, она отвечала, что у них много причин сердиться, но не уточняла, что это за причины. В конце концов я своими приставаниями доводила ее саму до крика, после чего, поверив ей на слово, меняла тему.

Оставив Мэйбл с ее передачей, я спустилась в родительскую спальню. Я не знала, где Кэт, – надувшись, она отстала от меня, когда я отказалась прокатить ее на сиденье как пассажира. (Кэт было не уговорить ездить на собственном велосипеде – она боялась, что шарф попадет в спицы, она упадет и выбьет себе передние зубы, как одна девочка из нашей школы. “О боже мой, – вздыхала мама, – да у тебя и шарфа-то нет!” Но Кэт было не сбить: она каталась на велосипеде только в качестве пассажира. Для гонок пассажир помеха, так что я не всегда соглашалась прокатить сестру.)

Когда я распахнула дверь, отец сидел на кровати и шнуровал ботинки. Я уловила аромат мыла “Санлайт” и детской присыпки “Джонсонс”, которой отец припудривал ноги, чтобы резиновые сапоги не натирали, – он часами таскался в забоях вверх-вниз. Отец всегда принимал душ на шахте, смывая пот и въевшуюся угольную пыль после дня, проведенного с мужчинами, а потом возвращался, чистый и благоухающий, в наш женский дом.

- Папа! – Я пушечным ядром врезалась в него, и он рассмеялся.
- Вот это подкат, Конопатик. По-моему, у нас в семье растет регбист.
- Почему ты снова одеваешься?
- У нас с мамой сегодня вечером торжественное мероприятие.

Я зашла в ванную, где готовилась к выходу мать, обняла ее, опустила крышку унитаза и села на него как на стул. Я любила смотреть, как мать, по выражению отца, “наводит марафет”, хотя мне не нравилось, когда они уходили на свои торжественные мероприятия.

– Поторопись, Джолин. Хватит вертеться перед зеркалом. – Отец топтался под дверью ванной, пытаясь завязать темно-зеленый галстук.

– Прости, но сказать за два часа – это смешно. Если бы я знала об этом вчера, я бы пришла домой пораньше.

– *Ja*²², ну извини. Должен был пойти Хенни из горноспасательной команды, но у него понос. Весь день просидел в уборной, все провонял. В конце концов *okes*²³ велели ему проваливать домой и засерать собственный толчок.

- Похоже, у него то же желудочное заболевание, что у Эдит.

Мать потыкала щеточкой во флакон с тушью, чтобы нанести еще один слой на липкие ресницы; папа, замерев, неотрывно глядел на нее. Мы оба замирали как загипнотизированные, глядя, как мать округляет рот буквой “О”, и порой я замечала, что мой собственный рот округляется в бессознательном подражании.

Отец покачал головой и улыбнулся:

- Когда ты так делаешь, ты похожа на престарелую золотую рыбку.

Мать завинтила тушь и бросила в отца флакончиком, тушь ударила отца в грудь, тот скорчился, будто смертельно раненный. Мать распустила узел его галстука и подтянула отца ближе, чтобы поцеловать.

- Давай я завяжу, иначе мы проторчим в этой ванной весь вечер.

Отец изучал ее лицо, пока она рассеянно занималась галстуком.

- Какая ты красивая, Джо.

Я заерзала в стыдливом удовольствии от их телячьих нежностей – в кои-то веки. Отец говорил правду: моя мать была красивая. Пышные каштановые волосы одуванчиком пушились вокруг лица, изогнутые брови, высокие скулы. Большие карие глаза матери были полной противоположностью голубым глазам отца, но мне нравилось, что у меня отцовские глаза. Еще мне хотелось бы его светлые волосы вместо своих темно-русых, но, как родители часто напоминали мне, жизнь – не сплошной праздник.

²² Да (*африкаанс*).

²³ Здесь: ребята (*южно-афр. англ.*); *oke* – сокращ. от *bloke* – парень (*англ.*).

Управившись с галстуком, мать шлепком выставила отца из ванной, подобрала тушь и снова повернулась к зеркалу.

– Тебя послушать – какая разница, как я выгляжу. В этом платье нормально? Дамы уже много чего наговорили о моей работе и моей бандитке-дочери. – Она бросила на меня удрученный взгляд. – Не хочу давать им очередную тему для пересудов.

– Ты безупречна. И платье безупречно. Ну, теперь идем?

– Еще одну минутку. – Мать достала из ящичка тонкую золотую цепочку с блестящей подвеской-ониксом и застегнула ее на изящной шее. – Где Мэйбл?

– На кухне, заканчивает гладить. Я скажу ей, чтобы осталась.

Обязанности Мэйбл включали уборку, стирку, глажку, готовку и заботу о нас, детях, – обязанности, которые, как ожидалось, она будет выполнять каждый день за исключением воскресений. В будние дни она забирала нас с Кэт из школы и приглядывала за нами до возвращения родителей. Если они уходили куда-то, то само собой разумеется, что Мэйбл сидит с нами. Я никогда не слышала, чтобы родители спрашивали Мэйбл, нет ли у нее каких-то планов, – просто предполагалось, что она останется, и без дополнительной оплаты.

Отец быстро направился к кухне, я соскочила с унитаза и последовала за ним по коридору, скрипя *takkies* по натертому до блеска полу. Оставленная без присмотра кастрюля исходила паром на плите. Отец снял ее с конфорки, открыл заднюю дверь и позвал:

– Мэйбл?

Мэйбл что-то неразборчиво ответила. Мы вышли во двор и направились к жилищу прислуги, крошечной комнатке с отдельным туалетом, пристроенной к дому и имевшей отдельный вход. Я расслышала доносившийся изнутри голос диктора “Спрингбок Радио”: “...более двадцати тысяч чернокожих учащихся из средних школ Соуэто сегодня утром продолжали бунтовать, бесчинствуя и швыряя камни в вооруженных полицейских. Бунт начался в знак протеста против введения африкаанс в качестве языка преподавания в местных школах. Разъяренная толпа атаковала полицию, и более...”

Отец постучал в железную дверь, и радио резко умолкло. Отец толкнул дверь и переступил порог затемненной комнаты Мэйбл, я выглядывала из-за его спины. Я различила силуэт Мэйбл, стоявшей рядом с узкой кроватью. Завязывая на ходу *doek*, она проскользнула мимо нас. Я уловила слабый запах вазелина и нюхательного табака – запах Мэйбл.

– Сколько раз повторять – не оставляй еду на плите, если ты у себя! Не плиту оставишь, так уют. Вот спалишь мой дом дотла – увидишь, что я с тобой сделаю.

– Да, *baas*²⁴. Простите, *baas*.

– Прекрати все эти “да-*baas*-простите-*baas*”. Просто делай, что сказано. Ты хуже ребенка.

Мэйбл снова поставила кастрюлю на конфорку, включила огонь и достала из-под кухонной мойки пакет “Ивисы”. Белая кукурузная мука был основой диеты Мэйбл. Она ела кашу с томатно-луковой подливкой и овощным блюдом *morogo* из дикого шпината, который она собирала неподалеку, а мне, если я просила кукурузное месиво, готовила с сахаром и сливочным маслом.

– Ты тут слушала радио. Слышала, что устроили сегодня в Соуэто эти мелкие *чернявые*? Бегали по всему городу, швырялись булыжниками в полицейских, надевали “ожерелья” на неповинных людей, поджигали...

– А почему они надевали ожерелья на людей? – спросила я. Отец не обратил на мой вопрос внимания, так что я сделала еще одну попытку: – Ожерелье – это же здорово?

– Робин, “ожерелье” значит, что на шею человеку повесили автомобильную крышку, а потом подожгли, чтобы человек сгорел заживо. Это не так уж и здорово.

²⁴ Хозяин (*нидерл.*).

– *Baas*, – сказала Мэйбл, прежде чем я успела спросить, зачем кому-то делать такие ужасные вещи, – марш был мирным, а потом полиция пришла и стала стрелять в детей. – Сообщив это кастрюле, Мэйбл насыпала белой муки в кипящую воду и потянулась за деревянной ложкой.

От слова “полиция” у меня свело желудок: когда мы с Кэт были помладше и нам случилось плохо себя вести, Мэйбл иногда грозилась, что сейчас позвонит в полицию и нас заберут. Только так ей удавалось добиться хоть какого-то послушания, ведь что бы мы ни творили, ей не позволялось шлепать или наказывать нас, и мы это знали.

При мысли о том, что полицейские стреляли в детей, я испугалась, но прежде чем я успела спросить отца, не явится ли полиция в Боксбург, чтобы стрелять и в нас тоже, отец ответил, повысив голос:

– Им повезло, что у них вообще есть школы. И сегодня утром этим бездельникам следовало быть в школе, а не заниматься черт знает чем на улице.

Мать процокала на кухню: туфли на ремешках, высокие каблуки. Она одним движением влезла в пальто и уронила в сумочку губную помаду.

– Кто занимался черт знает чем?

– Малолетние пройдохи, которые сегодня устроили бучу. В Соуэто сопляки, всем по двенадцать-тринадцать, вышли протестовать. Из-за этих мелких дикарей пришлось звать, мать их, армию с танками и всем таким прочим. Ты не слышала вертолетов над конторой?

– Нет, в машинописном бюро стоит такой треск – ничего не слышно. А как у вас в шахте? Вы там в безопасности под землей, с этими шахтерами? Один белый на сотню черных?

Отец начал было отвечать, но его голос заглушил стук – Мэйбл колотила деревянной ложкой по кастрюле, стряхивая клейкую *pap*²⁵. Отец слегка пихнул ее локтем, чтобы она убавила прыть.

– Говорят, нам не о чем беспокоиться, но безопасность с завтрашнего дня усилят, просто чтобы подстраховаться. Этим засранцам дай волю, и они тебе глотку перережут.

Мэйбл рывком сняла кастрюлю с плиты и выключила конфорку.

– И ты бы стал их винить? – спросила мать.

Отец бросил на нее выразительный взгляд и подождал, пока Мэйбл выйдет из кухни.

– Ты как твоя сердобольная сестрица. Сегодня черт знает какое нешуточное дело заварилось, Джолин. Говорят, таких беспорядков еще не было. Черные наглеют день ото дня, и правительство понимает, что контролировать их все труднее. А после сегодняшнего и все остальные на дыбы встанут. Неужели ты хочешь жить в стране, где *негритосы* гуляют как хотят, делают, мать их, что хотят, будто им дали право ни в чем себе не отказывать? Соуэто всего в пятидесяти километрах от нас. Это же ничто!

Кэт вышла из нашей комнаты, возможно привлеченная громким голосом отца, и теперь стояла рядом со мной. Она потянула меня за локоть, хотя это было необязательно – я и так знала, что она думает. Кэт пугалась, когда отец начинал так говорить. Ей чудилось, что какой-нибудь чернокожий ночью проскользнет в наш дом и убьет нас всех или, того хуже, похитит с какой-нибудь необъяснимой целью. Из того, что говорили наш отец и отец Пита, явствовало, что чернокожие опасны, хотя Мэйбл была вовсе не страшная. Я говорила Кэт, что, может, не все черные – злодеи, а только мужчины, так что она жила в постоянном страхе перед ними, хотя, говоря откровенно, она жила в страхе почти перед всем.

– Я не хочу, чтобы вы уходили. Не уходите, пожалуйста.

– С Мэйбл вам будет хорошо, не волнуйся.

– Но Кэт боится.

Мать вздохнула.

²⁵ Кашица, месиво (*нидерл.*).

– Кэт боится или боишься ты и просто прикрываешься ею?

Я сердито глянула на Кэт, желая, чтобы она высказалась.

– Кэт боится.

– Чего?

Так как Кэт продолжала упорно молчать, не отрывая взгляда от собственных ног, я ответила за сестру:

– Она боится пожара в вельде. Что будет, если он подобрется к дому?

– Я проходила мимо вельда, когда возвращалась домой. Огонь был совсем слабый и далеко, возле главной дороги. Пожарные машины уже все затушили.

– Еще она боится, что вы не вернетесь.

Мать рассмеялась:

– Что за глупости! Конечно же, мы вернемся.

– Обещаешь? – в один голос спросили мы с Кэт.

– Обещаю.

Я уже знала, что произойдет, когда настанет пора ложиться спать. Кэт ляжет в свою постель, потушит свет, притворится заснувшей, но как только решит, что я уснула, проскользнет в родительскую спальню, в их большую кровать. Только там она чувствовала себя в безопасности, когда родителей не было дома, к тому же так она первой узнавала об их возвращении.

Мать наклонилась, чтобы обнять нас на прощанье. Она сбрызнулась духами “Чарли”, и хотя я нуждалась в близости, цветочный аромат был слишком сильным, и я вывернулась. Мать подхватила ключи от машины с кухонного стола и бросила отцу. Потом повернулась к Мэйбл:

– Будем дома ближе к полуночи. Если устанешь, ложись спать на полу в большой комнате.

Я смотрела, как отец, поддерживая мать под локоток, выводит ее на крыльцо. Он послал нам воздушный поцелуй и посмотрел на Мэйбл:

– Запри все двери, Мэйбл. Сегодня страна сошла с ума.

Это было последнее, что я от него слышала.

7 Робин

16 июня 1976 года

Боксбург, Йоханнесбург, Южная Африка

В дверь заколотили около полуночи. Меня подбросило в кровати. Я была одна – как и ожидалось, Кэт прошмыгнула в родительскую спальню, как только я уснула. Я на цыпочках подошла к двери спальни и выглянула. Мэйбл, замерев, стояла в большой комнате.

– *Maak die deur oop!* Открывайте!

Бах, бах, бах.

Это пожарные, они пришли спасти нас. Пожар из вельда подобрался к дому, и они сейчас нас вытаскают.

Прежде чем я успела сказать хоть слово, крики возобновились, на этот раз – с резким акцентом, по-английски.

– Это полиция. Мы знаем, что вы там. Открывайте!

Мэйбл дрожащей рукой поманила меня, и я кинулась ей под бок. Полиция пришла не из-за пожара. Мэйбл прижала меня к себе, а я обхватила ее руками. Четвероногим существом мы добрались до двери, Мэйбл отперла, открыла, и мы отступили, чтобы дать мужчинам пройти. Я выглянула из-за Мэйбл и увидела на улице полицейские фургоны. Мигалки освещали наш двор и окрестные дома, словно дискотечный шар, придавая знакомой улице странно праздничный вид.

Двое полицейских угрожающе замаячили в прихожей; на них были синие формы полиции ЮАР, на боку – пистолеты в кобуре. Один из полицейских был худым и высоким, с коротко стриженными рыжими волосами и бородой, закрывавшей почти все лицо и шею. Его коллега был старше, темнее лицом. Синяя фуражка, низко надвинутая на лоб, бросала глубокую тень на лицо, а золотая кокарда над козырьком вспыхивала, когда на нее падал свет.

Высокий рыжебородый полицейский был агрессивнее своего товарища, и говорил в основном он.

– Почему не открываете дверь полиции?

– Простите, *baas*. – Голос Мэйбл был как туго натянутый канат, на котором ее дрожащие слова пытались обрести точку опоры.

– Что ты делаешь в этом доме? Вы тут ночуете?

– Нет, *baas*. Мадам и *baas* ушли, я присматривать за ребенком.

– Пошли, мы забираем тебя в участок.

– Вы не можете оставить ребенка одного, *baas*.

– Она поедет с нами. – От нетерпения полицейский повысил голос.

– Но мадам и *baas* – они будут волноваться, когда придут домой, а ее нет.

– Мадам и *baas* не придут домой, – фыркнул рыжий. Ему не хватило терпения дожидаться ответа Мэйбл, он явно был человеком, привыкшим, чтобы его слушались.

– Почему, *baas*? Где они?

– С кем ты, по-твоему, разговариваешь, а, *kaffir meid*?²⁶ Здесь я задаю вопросы. – Он ткнул Мэйбл пальцем в нос, и она вздрогнула, когда его плевок оказался у нее на щеке, хотя она и не сделала попытки стереть его.

Полицейский шагнул вперед, навис над Мэйбл. Она не отступила, не отвела глаз. Он хотел запугать ее, но она не поддавалась.

²⁶ Черномазая девка (*африкаанс*).

Не надо, Мэйбл, подумала я. Он хочет тебя запугать. Покажи ему, что ты испугалась.

Они так и смотрели в глаза друг другу, ни один не хотел отвести взгляд первым, и я заговорила – и чтобы отвлечь их внимание, и потому что не могла больше сдерживать этот вопрос.

– А где мама и папа? Мы поедем к ним?

Мне ответил второй полицейский, голос у него был помягче.

– Идем, идем. – Он хотел взять меня за руку, но Мэйбл отступила и потянула меня назад.

– Вы не заберете девочку.

Он ударил ее под подбородок, зубы Мэйбл клацнули, и она, пошатнувшись, повалилась на меня. Я не смогла удержать ее, и она мешком рухнула, голова стукнулась о натертый до блеска пол. Полежав так несколько секунд, поскуливая, не понимая, что произошло, она приподнялась на локтях.

– Вставай, – велел мужчина, но Мэйбл не двигалась.

Я нагнулась и попыталась ее поднять, но груз оказался мне не по силам.

– Вставай сейчас же! – рявкнул полицейский.

Я не могла ни поднять Мэйбл, ни закрыть ее своим телом – слишком мала и слишком слаба я была. И все же я продолжала теревить ее.

Мэйбл, вставай. Пожалуйста, вставай!

Меня почти накрыла паника, когда сквозь туман страха прорезался успокаивающий материнский голос: *Не заикливайся на плохом. Попытайся найти выход.*

Если я не могу сдвинуть Мэйбл с места силой, то, может быть, удастся сдвинуть ее словами. Я присела на корточки и зашептала ей в ухо:

– Ну пожалуйста, Мэйбл, вставай. Пожалуйста. Пойдем – и все. Все нормально. Поедем туда вместе. Мама с папой найдут нас.

Мэйбл пару секунд смотрела на меня пустым взглядом, потом выражение ее лица прояснилось. Она кивнула и с усилием поднялась на ноги, а я сунула свою руку в ее. Полицейский нахмурился, увидев, как наши пальцы переплелись.

– Где мама и папа? – снова спросила я. – Хочу к ним.

– Ты их не увидишь, – выплюнул рыжий полицейский. – И знаешь почему?

Я помотала головой.

Полицейский кивнул на Мэйбл:

– Спроси свою приятельницу. Она тебе объяснит.

Мэйбл сжала мою руку. Я посмотрела на нее, ожидая, что она что-нибудь скажет, но Мэйбл молчала. Только сильнее стиснула мои пальцы.

– Ты их не увидишь, потому что черные подонки перерезали им горло от уха до уха. Почти головы отрезали, как цыплятам, – объявил полицейский. – Твои родители умерли.

8 Робин

17 июня 1976 года

Брикстон, Йоханнесбург, Южная Африка

Кэт!

Когда нас заталкивали в заднюю дверь полицейского фургона, я наконец подумала о сестре. Я про нее не забыла, просто из-за всего произошедшего она у меня в голове оказалась не на первом месте.

– Мэйбл, – зашептала я, – а как же Кэт?

Мэйбл моргнула, но ничего не ответила, глаза у нее были открыты, но она была похожа на лунатика.

– Кэт спала в кровати мамы и папы. Нам надо вернуться и...

– Нет. – Голос был как пустыня, невыразительный и глухой.

– Но надо сказать им...

– Нет, – повторила Мэйбл, на этот раз настойчивее.

– Но...

– Я сказала – нет!

Я впервые увидела, как Мэйбл теряет терпение. За те шесть лет, что она работала на нас, я иногда видела ее раздраженной, выбитой из колеи и нетерпеливой, но разозленной по настоящему – никогда.

– Ты не должна говорить о ней этим людям. Слышишь? – Мэйбл яростно сверкнула на меня глазами. В выражении ее лица было что-то такое дикое, что я не решилась испытывать судьбу и просто кивнула. – Ты не должна говорить о ней! – повторила она, и я снова кивнула. Если Мэйбл считает, что Кэт безопаснее дома, то пусть моя сестра остается дома.

Твои родители умерли. Слова полицейского воткнулись в мое сознание, как крошечное лезвие.

Это не может быть правдой, просто не может – и все. Он наверняка что-то перепутал или наврал, в отчаянии думала я.

О смерти я знала только одно: это некая мистическая сила, которая забирает птенцов и хомячков, а еще людей вроде моей Умы. Смерть – это то, что случается с больными, слабыми или старыми, а мои родители не были ни первым, ни вторым, ни третьим; они были молодыми, сильными и здоровыми.

Они, наверное, все еще на своей вечеринке. Произошла путаница, только и всего.

Мой отец был шутником, готовым на многое, лишь бы посмеяться, хотя люди не всегда понимали, что он дурачится. Мать часто говорила, что не каждый поймет его извращенное чувство юмора; вот и полицейские не сказать чтобы веселились от души. Они просто не поняли, какую шутку отколол мой отец.

Конечно, они не умерли. Конечно, нет.

Столь дикие вещи даже думать было предательством. Я, тряхнув головой, прогнала дурные мысли и оглядела фургон. Вдоль бортов тянулись лавки; я села на одну, Мэйбл – напротив. Металл сиденья холодил мои обтянутые пижамными штанами ляжки. Металлическая решетка, похожая на *braai*²⁷, закрывала стекло боковых окон и задней двери.

Между нашими сиденьями и кабиной водителя стояла клетка; когда я чуть задела ее, внутри что-то заворчалось. Это оказалась немецкая овчарка, собака внезапно вскочила,

²⁷ Решетка для гриля или барбекю (африкаанс).

и я оживилась. Я любила собак, но мне не разрешали завести свою собственную. Желая погладить собаку, я протянула руку.

– Нет. – Мэйбл шлепнула меня по ладони.

Она чуть не опоздала. Я уже умудрилась просунуть два пальца между железными прутьями, и собака среагировала быстро. Она рванулась вперед, и я отдернула руку, горячее дыхание мазнуло по запястью. Собака истерично залаяла, и я попятилась от клетки, а рыжий полицейский, обернувшись, постучал по перегородке.

Фургон с грохотом ожил, пол у меня под ногами задребезжал, и мы, накренившись, чуть не свалились на пол. Света в машине не было, лишь когда проезжали под фонарями, в черноте фургона проплывали световые арки, и с каждым сполохом света, падавшим на лицо Мэйбл, я видела, что оно раздувается буквально на глазах. На каждой выбоине нас сбрасывало с сидений, так что я пересела к Мэйбл – так мы могли поддерживать друг друга, и мне не надо было смотреть на нее.

Я решила лучше смотреть в окно, за которым тысячи крошечных красных глаз уставились на меня из темноты. Хватило секунды, чтобы понять: это тлеющие угли пожара. Мама была права. Огонь находился далеко и нам не угрожал, а пожарные машины держали его под контролем.

Еще через несколько минут я заметила, что мы проехали мимо дороги, на которую должны были свернуть, если бы нас везли в полицейский участок Боксбурга.

Куда они нас везут?

Едва этот вопрос оформился у меня в мозгу, как один из копов доложил по рации, что мы на пути в Брикстон.

Брикстон! Отдел убийств и ограблений. Нас везут к “Патрульным машинам”.

Мэйбл задрожала. Я ощутила, как она трясется. Может, замерзла? Я прижалась к ней, чтобы согреть ее своим теплом.

– Не волнуйся, – прошептала я. – “Патрульные машины” найдут маму и папу. Все будет хорошо.

Мэйбл, однако, не успокоилась – она явно знала кое-что, чего не знала я. Полицейский участок, в который нас везли, печально прославился пытками чернокожих. Слухи об этом доходили до Мэйбл, и она наверняка предчувствовала, какими будут для нее долгие часы перед рассветом. Она дрожала не переставая всю дорогу.

Потом – не знаю, сколько прошло времени, – мы прибыли в участок и вошли в большое помещение, провонявшее сигаретным дымом. Как только нас ввели, высокий полицейский куда-то утащил Мэйбл, а его напарник подвел меня к длинной деревянной лавке.

– Сиди здесь и жди меня, ладно?

– Ладно.

Я села на лавку, как было велено, ноги болтались над зеленым линолеумом. Полицейский поддернул темно-синие брюки и присел на корточки, чтобы его глаза оказались вровень с моими.

– Куда вы увели Мэйбл? – спросила я.

– Мы просто зададим ей несколько вопросов.

– Можно мне к ней?

– Нет. Никуда отсюда не уходи, хорошо?

– Хорошо.

– Ни на шаг. Сиди где сидишь.

Я кивнула в знак того, что все поняла; полицейский погладил меня по голове и встал, собираясь уйти, но снова обернулся ко мне.

– Я знаю, что тебе сейчас очень одиноко, но я хочу, чтобы ты знала: ты не одна, твои родители здесь, с тобой.

Вот и подтверждение моим догадкам!

Мама и папа здесь! Команда “Патрульных” разгадала загадку их исчезновения, и теперь мы будем вместе, до заключительных аккордов музыкального завершения радиопередачи.

Я вытянула шею и принялась крутить головой по сторонам, выглядывая родителей.

Полицейский, должно быть, понял свою ошибку и быстро внес коррективы:

– Я что хочу сказать. Твои мама и папа теперь на небесах, с Богом, они сейчас смотрят на тебя и приглядывают за тобой. Ты теперь никогда не будешь одна – они будут с тобой. Всегда.

– А где “Патрульные”?

– Кто?

– Ну те ребята из радио? Крутые детективы, которые здесь работают?

Полицейский расцвел улыбкой.

– Аг²⁸, да это выдумка. На самом деле этих ребят не существует. Они просто актеры, которые притворяются детективами.

И, помахав мне рукой, он ушел.

Спасительная страховка, которую я себе натянула, медленно расплзлась, но я все еще отказывалась впустить в сознание мысль, что полицейские сказали правду насчет моих родителей. Моя связь с матерью и отцом была построена на вере – безоговорочной, всепоглощающей, непоколебимой вере в то, что они неуязвимы.

Если они действительно всегда знали, как лучше, если имели право водить машину, ходить на работу, пить спиртное и курить, если они могли приходить и уходить когда захотят, не спрашивая разрешения, если они могли принимать сто решений насчет моей жизни и своих собственных жизней, причем чтобы объяснить то или иное решение, им достаточно было “потому что я так сказал”, то мне приходилось верить, что они достойны этого высокого положения. Без слепой веры вся эта иллюзия детско-родительской связи рушилась, потому как – что, в сущности, есть родитель, как не бог в глазах ребенка? Я не должна была терять веру в своих богов. Так что я ждала, когда они придут и отвезут меня домой.

То и дело где-то открывалась дверь и в помещение врывались железный лязг, злобные окрики и жалобный плач. Через некоторое время добрый полицейский вернулся – проверить, как я, принес мне плед. В течение предзакатных часов полицейские приводили в приемное помещение десятки чернокожих и вталкивали их в те же двери, за которыми исчезла Мэйбл. Многие из них казались подростками, большинство – в крови.

На одной девушке были только лифчик, трусы да мужская рубашка с длинными рукавами. Рубашка с оторванными пуговицами доходила лишь до середины бедер; девочка дрожала, обхватив себя за плечи. Когда я протянула ей свой плед, она взглянула на меня дико, как бешеная собака, которую я как-то видела на мусорной куче. Несмотря на холод, кожу девушки покрывала пленка пота, блестящая в свете люминесцентных ламп. Белесая отметина – то ли след ожога, то ли родимое пятно – тянулась от нижней губы вниз по подбородку и исчезала под воротом рубашки. От девушки плохо пахло – по́ том и дымом; мне пришлось встряхнуть пледом, чтобы она поняла мое намерение. Девушка выхватила плед у меня из рук и быстро завернулась в него на манер платья, а потом ее увели.

Прошел еще час.

Проснулась ли Кэт, подумала я. Знает ли, что она в доме одна? Наверное, испугалась? Может, мама и папа уже дома, с ней. Когда они вызволят Мэйбл?

Страшно хотелось в туалет, но полицейский велел не двигаться со скамейки.

²⁸ Ах (африкаанс).

Я уже не ребенок. Еще немного, и мой возраст будет исчисляться двумя цифрами. Я могу потерпеть.

Но потерпеть не получилось; влажное тепло распространилось по лавке, а воздух наполнился едким запахом мочи. Я покраснела от стыда. Моча закапала с лавки и лужей растеклась у меня под ногами – и тут в помещении появилась тетя Эдит. Она тяжело дышала, будто бежала всю дорогу. Не увидев меня, Эдит повернулась, чтобы скрыться откуда пришла.

– Эдит! – дрожащим голосом позвала я.

Она обернулась – лицо бледное, перекошенное от волнения. Бросившись ко мне, Эдит упала рядом на лавку и прижала меня к груди.

Эдит здесь. Она здесь, и теперь все будет хорошо.

Когда она наконец выпустила меня, я стала изучать ее лицо в поисках ответов. Эдит точно была человеком, на правдивость которого я могла рассчитывать. Я открыла рот, чтобы задать вопрос, но тут же закрыла, потому что увидела, что в вопросах нет нужды. Правда была в ее красных от слез глазах и распухшем носе. Правда была в беззащитном взгляде и посеревшей коже. Эдит плохо справлялась с горем, и мне вдруг совершенно расхотелось слышать правду. Еще совсем недавно мне больше всего на свете хотелось узнать правду, но сейчас я поняла, что не смогу перенести ее.

– Эдит, нам надо забрать Кэт, – пролепетала я.

– Что?

– Кэт спала в кровати мамы и папы. Она спала, когда полицейские нас забрали, не проснулась, и я хотела сказать им, чтобы ее привезли, но...

– Робин...

– Она там совсем одна, надо забрать ее...

– Робин, милая...

Не говори мне, что мама и папа умерли.

– Она испугается. Ты же ее знаешь.

Не говори мне, что мама и папа умерли.

– Она правда очень-очень испугается, нельзя, чтобы она сидела там одна, надо забрать ее. Поскорее! Мы должны ее забрать. Пойдем! Кэт будет думать, куда мы...

– Робин! – выкрикнула Эдит, схватив меня за плечи, чтобы я стояла твердо. – Кэт не существует! Кэт не существует, ты знаешь, что ее не существует. Твоей сестры не существует.

И это тоже было правдой.

9

БЬЮТИ

17 июня 1976 года

Соуэто, Йоханнесбург, Южная Африка

Рассвет с трудом пробивается сквозь пелену дыма, которая висит над нами, словно общая печаль. Я сижу во дворе у Андила на старом пне и приветствую день. Этот ритуал я повторяю во время каждого рассвета, сколько себя помню; сейчас он помогает мне забыть, что на мне чужая одежда, я в чужом городе, а мое дитя в опасности.

– *Molo, sissi.*

Андиль с двумя кружками в руках стоит у меня за спиной. Пар поднимается в холодный утренний воздух, вуалью заслоняя его лицо. Когда оно проясняется, я по мешкам под глазами брата вижу, что он спал не больше моего.

– Принес тебе чай. Три ложки сахара, как я люблю. Надеюсь, ты тоже так любишь.

Конечно, мой брат не знает, сколько сахара я кладу, потому что мужчины в нашей культуре не оказывают услуг женщинам. От доброты непривычного для брата поступка и сопровождающей его неловкости мне хочется плакать. Брат протягивает мне кружку, свою ставит на землю и уходит в дом. Через пару минут возвращается с ржавым, некогда белым садовым стулом, который ставит рядом со мной.

– Садись. Пень – это мой стул.

Еще одно проявление доброты, но брат пытается замаскировать ее, обозначая, что тут все принадлежит ему. Я знаю, что благодарность только смутит Андила, поэтому ничего не говорю. Я пересаживаюсь и обхватываю ладонями оловянную кружку. Тепло металла действует как бальзам. Пальцы обретают чувствительность, а когда я делаю глоток, тепло льется в желудок. Сладость чая дает мне силу.

В первый раз у нас с Андилем выпало время для настоящего разговора. Вчерашний день мы провели в непрерывном движении, разрываясь в поисках Номсы. Мы были уверены, что найдем ее, надо только правильно искать. Я искала в школах и местах, где дети прятались, когда началось кровопролитие. Андиль и мальчишки обходили дома друзей и одноклассников Номсы. Линдиви, жена Андила, искала в больницах и медпунктах.

Сначала я спрашивала у каждого встречного школьника одно и то же: “Ты знаешь Номсу Мбали?”

Я ожидала, что задам этот вопрос много десятков раз, прежде чем получу хоть один утвердительный ответ, однако, к моему удивлению, мне кивали многие.

– Да, я знаю Номсу.

– Номсу Мбали, которая ходит в школу Моррис-Исааксон? Ей семнадцать лет.

– Да, мама.

– Ты знаешь, где она сейчас?

В ответ ребята качали головой и возвращались к своим разговорам.

Я попробовала добавлять еще один вопрос: “Когда ты видел ее в последний раз?”

Какая-то девочка, нахмурившись, задумалась.

– Я видела ее сегодня утром, мама. Она раздавала студентам плакаты для демонстрации.

– А потом?

– Она одна из первых вышла из ворот после сигнала собираться, и мы все пошли за ней. После Мпути-стрит, когда к нам присоединились ребята из других школ, я ее не видела.

Я расспросила множество детей, которые вспомнили то же самое, но не нашла никого, кто видел бы Номсу после столкновения с полицией. Прошел не один час после наступления

темноты, прежде чем я прекратила безумно метаться из одного места в другое и заставила себя успокоиться и подумать. С головой погрузившись в поиски Номсы, я не подумала о том, что она может уже дожидаться меня в доме Андила.

Ну конечно, она именно там. Они ее нашли, и моя девочка ждет меня дома.

До дома Андила я добралась примерно за час; когда я открыла калитку, мальчики выбежали мне навстречу.

– Она здесь? Вы нашли ее?

Я вбежала в дом и принялась оглядывать родных, ища свою дочь. Когда надежда ушла с лица Андила, я все поняла. Они ее не нашли. Они ждали моего возвращения, надеялись, что я приведу Номсу с собой.

Ноги у меня подкосились, и брат подхватил меня. Линдиви омывала меня холодной водой, а я, парализованная тревогой, сидела на матрасе. Я молилась, пока она стирала с моего лица засохшую кровь. Я молилась, пока она снимала с моего тела рваную одежду и натягивала на меня, как на ребенка, свою собственную ночную рубашку – через голову, поочередно поднимая мои руки и продевая их в нужные отверстия. Горький настой, который она заварила, помог мне соскользнуть в глубокий сон без сновидений, и я обрела забвение.

Теперь я восстановила силы. Я готова.

– Говори, – прошу я. – Расскажи мне все.

Андиль прочищает горло.

– Несколько недель назад ко мне пришел Ланга. Он сказал, что его кое-что тревожит и он хочет поговорить со мной наедине.

Я кивком прошу брата продолжать.

– Номса встретила его на собрании Совета учащихся Соуэто, где он и услышал о демонстрациях протеста, которые они планировали. Номса взяла с него слово хранить тайну, но когда он услышал, сколько школьников будет вовлечено в акцию, то забеспокоился. Ланга понимал, что любая демонстрация такого масштаба поднимет на ноги полицию.

– Совет учащихся? Номса – член этого совета?

– А ты не знала? – Андиль хмурится.

– Нет. Когда она упрашивала меня отпустить ее на учебу, я взяла с нее обещание, что она не станет лезть в политику, во все эти организации. Она обещала.

– Но она каждый месяц писала тебе письма. Она ничего тебе не сообщила?

– Нет, она писала, что много учится и ей очень нравится школа. – После этих моих слов Андиль хмурится еще сильнее. – Ты хочешь сказать, *bhuti*²⁹, что она лгала мне?

Андиль вздыхает и трет подбородок.

– Номса говорила, что все тебе рассказала и что ты ей разрешила.

– Значит, она обманула. Она была членом этого совета?

Андиль качает головой:

– Не просто членом, *sissi*, а одним из руководителей, организаторов марша. Одним из главных организаторов.

Его слова падают мне на грудь, словно камни. Вчерашние дети все, кажется, знали, кто такая Номса, слова той девушки снова зазвучали у меня в ушах: “Она одна из первых вышла из ворот после сигнала собираться, и мы все пошли за ней”. Я думала, что Номса оказалась в первых рядах по несчастливой случайности, но это не была несчастливая случайность – так было задумано. Она вела демонстрацию.

– Что было потом? – спрашиваю я.

– Ланга пытался сказать Номсе, что это опасно, но она обозвала его трусом и заявила, что родство с ним позорит ее. Она не позволит ему приходить на собрания и не станет ему

²⁹ Брат (*коса*).

впредь ничего говорить. Когда до него начали доходить школьные слухи, он снова пришел ко мне, и тогда я поговорил с ней.

– Что она сказала?

– Номса не отрицала, что они что-то затевают, но отказалась посвящать в подробности. Она вела себя дерзко, и тогда я написал тебе. Мне пришлось выбирать слова очень аккуратно – на случай, если письмо перехватит тайная полиция. Осторожность лишней не бывает.

Вела себя дерзко. Эти слова гудят у меня в ушах, а сама я пылаю от стыда при мысли, что моя дочь могла столь неуважительно разговаривать со своим дядей и защитником.

– Ночью накануне марша, во вторник, – продолжает Андиль, – Линдиви случайно услышала разговор Номсы с ее подружкой Фумлой Ндлову и поняла, что марш назначен на следующий день. Поэтому мы с Линдиви вчера не пошли на работу. Остались дома, на случай, если Ланга прав и дети в опасности, но Номса надела школьную форму, как в обычный день. Сказала, что у нее сегодня контрольная и она надеется написать ее хорошо, и мы еепустили. Мы не думали, что она отправится на марш. Решили, что Линдиви неправильно поняла. – Андиль опускает голову.

Из разговоров с учителями и другими родителями я уже знаю: большинство старших не имели понятия о готовящейся акции. Ранним утром, еще до восхода солнца, они выстроились в очереди на остановках в ожидании зеленых автобусов “путко”, которые должны были отвезти их на работу в город, подальше от марша – и от возможности защитить своих детей. К тому времени, когда взрослые услышали, что произошло, и стали прорываться домой, едкий дым уже стелился над горизонтом, а сотни детей были мертвы.

– Я подвел тебя, *sissi*. – В голосе Андила звучит боль. – Я обещал присматривать за твоей дочерью, защищать ее – и подвел тебя. – Голос у него прерывается. – Если с ней что-нибудь случилось, я никогда себя не прощу.

10 Робин

17 июня 1976 года

Боксбург, Йоханнесбург, Южная Африка

Однажды, когда мне было шесть лет, я шпионила за взрослыми и подслушала разговор, который был не для моих ушей. Тогда-то, в минуту моего стыда, и родилась Кэт, моя сестра-близнец.

Я знала, что она плод моего воображения. На самом деле я не видела ее, она вовсе не была галлюцинацией. Напротив, чтобы вызвать ее к жизни, мне понадобилось немало времени, практики и усилий.

Поначалу для поддержания ее жизни требовались зеркала. Кэт, мое отражение, жила в зеркалах, ограниченная стеклом. Я подходила к зеркалу, обнаруживала ее, и мы вели долгие беседы, которые обрывались, стоило мне отвернуться. Но вскоре годилась уже любая отражающая поверхность. Если я ловила промельк себя в окне, луже или на свеженатертом деревянном полу – тут же появлялась Кэт. Она вышла из зеркала и последовала за мной в мир.

Поначалу родители подыгрывали мне. Отец говорил, что это признак творческого ума и что он сам в детстве разговаривал со своей собакой.

– Как здорово, что рядом две такие мордашки, – сказал он как-то, хватая меня за нос. – Ты знаешь, как я люблю твои веснушки.

В тот день у Кэт чудесным образом появился цвет лица – ни одной веснушки. Любимым лицом отца было мое, а лицо Кэт стало чистым листом.

Поведение каждой из нас определялось поведением другой: когда мне хотелось плакать, слезы проливали Кэт; когда мне требовалось быть храброй, Кэт становилась трусишкой; когда я делала что-нибудь не так, Кэт принимала вину на себя. Вскоре скучная Кэт надоела моим родителям и я стала любимицей. Невозможно быть самым любимым ребенком, если ты единственная в семье, так что Кэт всегда выполняла свое назначение, как выполнила бы его и сейчас в полицейском участке, если бы Эдит ей позволила.

– Робс, Кэт не существует! – выкрикнула Эдит. Она встряхнула меня, словно надеялась таким путем встрясти в меня немного здравого смысла. – Почему ты до сих пор делаешь вид, что она есть?

Вопрос был хороший, но не из тех, на которые я могла ответить – ни тогда, ни уж точно много лет спустя, когда я поняла наконец, насколько меня изломало стремление стать любимой. Пытаясь угодить родителям в их ожиданиях, я разобрала себя на части, чтобы изъять те, что считались неприемлемыми. Я отсекала их – гангренозные, нелюбимые аспекты моей личности – и, подобно Франкенштейну, сотворила чудовище.

Но тогда я не знала нужных слов, не могла объяснить все это Эдит, и так как она не разрешила мне использовать Кэт как ширму, которой Кэт и была, я собралась с духом и взглянула в лицо тому, от чего невозможно было больше отворачиваться.

– Мама и папа умерли. – Я постаралась выговорить эти слова буднично, пробуя их тяжесть.

Эдит взяла меня за руки и склонила голову; она кивнула, и слезы капнули на меня.

– Черные люди перерезали им горло, – добавила я.

Эдит отвела глаза, они были красными – такими же красными, как нос, из которого непривлекательно текло. Она вытащила из кармана смятую мокрую салфетку и попыталась высморкаться.

– Господи. Кто тебе это сказал?

– Полицейский, – ответила я.

– Боже мой. Прости, Робс. Я не хотела, чтобы ты узнала об этом вот так. Что еще он сказал?

– Что “Патрульные машины” не настоящие.

Эдит скривилась. Она знала, как я люблю эту программу, я заставляла Эдит слушать ее каждый раз, когда тетка приезжала в гости в выходные.

– Мэйбл тоже убили?

– Нет, – сказала Эдит. – Она где-то здесь, надо ее найти.

Как я потом узнала, Эдит планировала в этот день улететь в Китай больше чем на две недели. Вирулентный желудочный вирус, по поводу которого она звонила моей матери, отправил ее на больничный, и авиалинии заменили ее на рейсе. Я старалась не думать, что было бы, не сумей полицейские связаться с Эдит тем утром и как долго они продержали бы меня в участке. И что полицейские сделали бы с Мэйбл.

Эдит открыла сумочку и вытащила упаковку пастельного цвета салфеток. Выдернув несколько, она попыталась вручить одну салфетку мне. Я помотала головой. Эдит посмотрела сначала на салфетку, потом на меня. Казалось, она видит меня – видит по-настоящему – в первый раз с тех пор, как пришла сюда.

– Робс, я знаю, что сегодня ужасная ночь, ты, наверное, напугана до потери сознания, но я уже здесь. Тебе не нужно больше быть сильной.

Сочувствие Эдит попало прямо в узелок печали, который все рос у меня в горле, пока не вырос в опухоль настолько большую, что стало трудно глотать. Адреналин иссяк, вместе с ним рассеялся шок, оставив после себя чувство пустоты. Мои родители действительно мертвы. Не было никакой путаницы, не было дурных шуток. Эта мысль заткнула мне трахею, не давая дышать. Глаза обожгло слезами, я ждала облегчения, которое они принесут, но со слезами пришло воспоминание о словах полицейского.

– Эдит?

– Что, заяц?

– Это правда, что мама и папа на небе, что они присматривают за мной и всегда будут со мной?

Эдит пару секунд молчала, и я видела, что она обдумывает ответ. Потом она кивнула:

– Да. Правда.

Родители сейчас смотрят на меня. Они меня видят так же, как видели всегда. А потом мне пришла в голову одна встревожившая меня мысль. Спрятаться теперь негде.

Раньше, если я не могла удержаться от слез, я убегала к себе в комнату – там я могла плакать так, чтобы мать меня не увидела. Теперь я лишилась такой возможности. *Теперь мама смотрит на меня постоянно, я не могу больше быть плаксой.* В первый раз я позавидовала невидимости Кэт.

Эдит внимательно посмотрела на меня, чтобы понять, не понадобится ли мне все-таки салфетка, но я не пролила ни слезинки.

– Хочу к Мэйбл, – сказала я.

Эдит кивнула.

– Значит, надо привести Мэйбл к тебе.

Через час Мэйбл впихнули в приемную зону – Эдит пригрозила капитану участка, что свяжется с “Рэнд дейли мейл” и расскажет, как полицейские обошлись со мной. У нас не было времени смотреть, что там у Мэйбл с лицом, – мы бросились на улицу, морщась от резкого зимнего солнца. Когда мы убрались достаточно далеко, чтобы почувствовать себя в безопасности, Эдит замедлила шаг и повернула к стоянке. Мы обе посмотрели наконец на Мэйбл, и я открыла рот. Она выглядела куда хуже, чем ночью.

Правый глаз у Мэйбл заплыл и отливал бы густо-лиловым, будь ее кожа белой. Нос покрывала корка засохшей крови, разбитые губы вспухли. Но больше всего меня поразил вид ее волос – их я никогда раньше не видела, так как их всегда покрывал туго намотанный *doek*. Волосы были заплетены в тугие косички, но несколько прядей выбились и торчали.

Эдит уронила сигарету, которую готовилась закурить, и потянулась к лицу Мэйбл, но та вздрогнула и попятилась. Взгляд единственного действующего глаза, налитого кровью, метался по парковке.

– О господи, Мэйбл, что с тобой?

Мэйбл не слушала. Она повернулась к своим – ее, кажется, подбодрило то, сколько чернокожих толпится на стоянке.

– Мэйбл, я отвезу тебя в больницу. Надо показать тебя врачу.

Мэйбл помотала головой и сморщилась. Движение причинило ей боль.

– Ты ранена. Не знаю, что эти сволочи с тобой делали, но тебе нужна медицинская помощь.

– Нет, – проскрежетала Мэйбл. – Нет.

Эдит в отчаянии всплеснула руками.

– И что ты собираешься делать?

– Вернусь домой. В бантустан.

– Какой?

– Кваква.

Мне всегда нравились взрывные щелчки языка сото. Некоторые слова Мэйбл звучали так, будто пробка вылетала из бутылки шампанского, и хотя я часто пыталась подражать ей, мой язык был ленив и непокорен. Но сейчас слово, произнесенное на сото, не отозвалось во мне приятной щекоткой – только ужасом, которому нет названия.

– Это же очень далеко, а ты в таком состоянии... – Эдит собиралась продолжить препирательства, но замолчала, осознав, что без толку. Мэйбл приняла решение, и ничто ее не остановит.

Прежде чем кто-нибудь успел произнести еще что-то, я шагнула к Мэйбл и обняла ее. Обхватила за талию, ожидая, что Мэйбл притянет меня к своему могучему, утешительному теплу, но она отстранилась. Удивленная, я подняла на нее глаза. По отсутствующему выражению на лице Мэйбл я поняла, что за те долгие одинокие часы, пока ночь перетекала в день, между нами что-то изменилось.

Мэйбл всегда знала, как унять мою боль, а такой боли, как в эти минуты, я не испытывала за всю свою жизнь. Каждый раз, воображая своих родителей с перерезанным горлом, представляя, как кровь фонтаном брызжет из ран, я тоже хотела умереть. А если я не могла умереть, то единственным человеком, который мог бы утишить мое горе, была Мэйбл.

Я рванулась к ней, она не успела отступить, и я покрепче прижалась к ее животу. Я вдохнула знакомые, успокоительные запахи – вазелин, табак, мыло и лук, – но были и другие запахи, новые, и они перекрывали старые, – отвратительный резкий налет страха и пота. Мэйбл попыталась разомкнуть мои руки, но я вцепилась в нее еще крепче. Мне надо было, чтобы она позаботилась о моих ранах. Мне надо было, чтобы она поцеловала их – и все бы прошло.

Вместо этого Мэйбл резко схватила меня за запястья, скрутив кожу, и от боли я разжала пальцы. Впервые Мэйбл причинила мне боль. В несколько секунд она освободилась от меня и теперь затравленно озиралась, ища, куда сбежать.

– Мэйбл! – Я понимала, что сейчас произойдет. – Мэйбл, пожалуйста, не уходи.

Она отвернулась и смотрела в другом направлении, изучая толпу.

– Мэйбл! – Ее имя словно утрамбовало собравшееся у меня в горле отчаяние, и я с трудом сдержала слезы. – Пожалуйста, не бросай меня.

Эдит потянула меня к себе, но я вырвалась.

Когда Мэйбл отвернулась, я сделала еще одну отчаянную попытку удержать ее.

– Я люблю тебя, Мэйбл. Пожалуйста. Я не могу без тебя.

Мэйбл, не оглядываясь, зашагала к толпе, внезапно рассыпавшейся в разные стороны: на стоянку завернул полицейский фургон. В мгновение ока Мэйбл растворилась среди соплеменников, закрывших ее со всех сторон, втянувших ее в себя. Я беспомощно смотрела, как и Мэйбл исчезает из моей жизни.

11 Робин

17 июня 1976 года

Йовилль, Йоханнесбург, Южная Африка

Эдит жила на одиннадцатом этаже высотки в центре Йовилля, пригорода Йоханнесбурга, и хотя здание было старым и облезлым, в нем ощущалось какое-то неброское благородство. Побитая временем, но гордая, высотка стояла, словно матриарх, и смотрела сверху вниз на многоквартирные дома помоложе, как смотрела на выходящих и входящих в ее двери обитателей района. Здание, которое кто-то, жестоко тосковавший по величию, назвал “Коралловый особняк”, соседствовало с густым лиственным парком с одной стороны и небольшим гастрономом – с другой.

Я в первый раз оказалась дома у Эдит, и то, что меня допустили в святая святых ее жизни, позволило сосредоточить все внимание на чем-то внешнем – в чем я так нуждалась. Инстинктивно я понимала: непрерывный ужас последних часов способен столкнуть меня в бездну потерь, что разверзлась у меня внутри. Я подозревала, что отвлекусь намного проще, чем выбраться из этой ямы.

Может, такой подход к проживанию горя и не был здоровым, но именно его Эдит дополнила “избеганием” собственного изобретения. Она не знала способов утешить горюющего ребенка. Она не знала даже, как справиться с собственными чувствами боли и утраты, так как вся ее жизнь строилась вокруг погони за удовольствиями. Эдит избавлялась от сердечных горестей или разочарований, не принимая или прорабатывая их, а отвлекаясь на алкоголь, мужчин, вечеринки и приключения. Если я в смысле эмоций была сорокой, то Эдит оказалась блестящей переливчатой вещицей. Мы, с нашими дисфункциями, отлично подходили друг другу.

– Ну вот и пришли, – пропела Эдит, отпирая дверь. – Я всегда говорила, что когда-нибудь затащу тебя к себе на пижамную вечеринку, верно? – Это было сказано с такой убежденностью, что я почти поверила в светский визит.

И спектакль начался.

– Ого, – включилась я в свою роль, словно входила в Аладдинову пещеру с сокровищами, а не в квартиру тетки.

Одну длинную стену закрывали полки, на которых теснились книги, пластинки и диковинки со всего света. Отливающие металлом сине-зеленые павлиньи перья из Индии томилась в соседстве с высохшей, по-паучьи растопырившейся рыбой с Филиппин. Красные с золотом венецианские стеклянные часы безмятежно тикали рядом с гротескной глиняной статуэткой из Ганы. Я никогда не задумывалась, сколь огромен мир, пока не увидела его следы в доме Эдит. Противоположную стену покрывали афиши в рамках, настенные коврики, маски, гобелены и картины; иногда они налезали друг на дружку, словно боролись за место. Стена была лоскутным одеялом, сшитым из пульсирующих воспоминаний Эдит.

В дальнем углу комнаты, слева от большого окна, помещался тщательно изготовленный золотой купол, похожий на миниатюрную версию собора Святого Павла. Купол состоял из трех отдельных клеток, соединенных воедино, причем центральная клетка – самая большая из трех – была выше меня и венчалась великолепным навершием. Это был роскошный птичий особняк, в котором квартировал Элвис – серый попугай жако, названный в честь кумира Эдит.

Я подошла ближе, и Элвис приветствовал меня первыми строками “Одиноко ли тебе сегодня вечером?”³⁰, воодушевленно подныривая головой. Я потянулась к миниатюрной дверце.

– Можно его выпустить? – Я не видела Элвиса с последнего визита Эдит к нам несколько месяцев назад. Птица была при ней, сколько я себя помнила; попугая тетке подарил один из ее богатых поклонников. – Пусть сядет мне на плечо?

– Вы с Элвисом можете наверстать время потом. Я уверена – ты бы предпочла провести время с сестрой.

– С сестрой?

– Да. – Эдит улыбалась. – Я отправила за ней одного своего приятеля. Она ждет нас здесь. – Эдит отвернулась и крикнула в направлении спальни: – Кэт! Выходи!

Меня тронула и готовность Эдит сделать вид, что моя сестра существует по-настоящему, и ее способность понять, как сильно я нуждаюсь в Кэт. Это маленькое проявление доброты принесло внезапную волну благодарности – а вместе с ней жгучие слезы.

Не плачь. Не плачь. Не плачь.

Эдит пришла мне на выручку, проводив меня и Кэт в ванную, где начала наполнять огромную ванну на львиных лапах. Она взяла два разных флакона с пеной:

– Лавандовую или розовую?

– А можно обе? – Я не могла решить.

– Почему бы нет? Придумаем свой собственный состав и назовем его “О-де-Бордель”.

– Кстати, ты стоишь на Кэт, – указала я.

На самом деле Эдит ни на ком не стояла, но мне необходимо было заполнять тишину болтовней. В этом выложенном кафелем, влажном пространстве звук расширялся и, отражаясь от стен, проходил сквозь меня, заполнял мне грудь, отчего я чувствовала себя не такой опустошенной.

– Прости, Кэт, – извинилась Эдит, отступив в сторону и устроив из этого целое представление. – Так лучше?

– Да.

– Отлично! – Эдит вылила щедрую порцию из флакона под струю воды. – Ну вот. Это точно подействует. Пена, пена и еще раз пена. А я выйду, чтобы дать вам больше личного пространства, пока вы раздеваетесь. Позови меня, когда залезешь в ванну.

Я подождала, пока Эдит покинет кафельный рай, и коротко взглянула на Кэт. Она была прозрачной, больше воспоминанием, чем образом, и во мне стала нарастать паника, царапая ребра, словно птенец, пробующий крылья.

Кэт?

Неужели я и ее потеряю? Сейчас, когда я нуждаюсь в ней как никогда?

– Посмотри в зеркало, – слабо прошептала Кэт, так тихо, что я ее еле расслышала, и этот тихий голос заставил меня нервничать еще больше.

Я повернулась и посмотрела в зеркало. Там была я: цыплячья грудь, длинные темно-русые волосы, голубые глаза, нос и щеки в веснушках – бледная, с натеками лилового под глазами. Сначала отражение было мною и никем больше, но по мере того, как стекло запотевало, девочка в зеркальных веснушках начала таять – вот и все, что понадобилось, чтобы все вернулось на свои места. Девочка в зеркале была мной – и в то же время она была Кэт. Я подмигнула, и она подмигнула в ответ. Я скорчила рожу – и она скорчила рожу в ответ.

– Привет, – сказала она своим всегдашним тонким голоском.

– Привет, – сказала я, взяла ее за руку, и мы шагнули в ванну.

³⁰ Песня Лу Хэндмана и Роя Терка (*Are You Lonesome Tonight?*, 1926), ставшая знаменитой в исполнении Элвиса Пресли (1960).

Привыкнув к горячей воде, мы погружались все глубже, и вот пена оказалась у нас почти над головой.

– Эдит!

Эдит вошла и подобрала с пола мою пижаму, трусы и носки.

– Отстирывать даже не собираюсь. Долой это все!

Лишь когда я вылезла из ванны, мне пришло в голову, что надеть нечего, но Эдит отказывалась извлечь из мусорного ведра мою одежду в пятнах крови и мочи. Она порылась в огромном комод и нашла маленькую футболку.

– Держи. Должно подойти.

Футболка комически повисла на моем тощем тельце.

– Она мне велика.

– Спать – в самый раз. Представь себе, что это ночная рубашка.

– А трусы?

– Трусы? Пфф. Кто же спит в трусах? Лично я склонна обходиться без ничего.

– А одежда для Кэт? – не отставала я.

– А не придумать ли “Новое платье короля” наоборот и вообразить Кэт одетой?

Я поразмыслила.

– Ладно.

– Отлично! Я рада, что мы решили эту небольшую проблему. А теперь бегом в кровать.

Я согрею для тебя молоко.

Я подождала, пока Эдит выйдет, и, вместо того чтобы лечь в постель, принялась бродить по ее спальне.

Здесь не оказалось принцессочной кровати под балдахином, как я всегда воображала, но комната все же выглядела очень женственной. Широкая двуспальная кровать с пышной резьбой в изголовье стояла напротив окна. Стены были голыми, если не считать двух заключенных в рамы живописных портретов Элвиса (кумира, а не попугая), оба в черно-белой гамме. Огромный туалетный стол занимал все пространство перед окном, сквозь которое проникало вечернее солнце, его лучи просачивались через белый тюль, чуть шевелившийся от легкого ветерка. Столешницу покрывало тонкое стекло, защищая дерево от десятков коробочек, выстроившихся шеренгами, словно армия красоты. Я никогда не видела столько всего: лаки для ногтей, патрончики губной помады, карандаши, румяна и тени, все аккуратно вставлено в специальные отделения.

Я наугад выдвинула один из ящичков и стала изучать содержимое. Ящик заполняли ровнехонько расставленные флакончики с духами, лосьонами и прочими разноцветными жидкостями, аромат которых поднимался вверх, словно благоуханные призраки. Исследование другого ящичка выявило щетки для волос, бигуди и шпильки, и я провела пальцами по их острым зубцам; мне нравилось щекотное ощущение, но потом оно напомнило мне об отцовских усах, и я отдернула руку.

У матери никогда не было туалетного столика, она держала всю свою косметику в шкафчике в ванной, и я была зачарована алхимическими снадобьями и эликсирами, которые Эдит поставила на службу своей красоте. Эдит была не такой миловидной, как мать. У мамы черты были помягче, тогда как лицо Эдит казалось скорее угловатым, более вытянутым, с резкими чертами. Волосы, которые она обычно зачесывала назад, были того яркого оттенка, который она называла огненно-рыжий, а красилась она всегда с величайшим тщанием. Эдит была и творцом, и творением, а ее комната – мастерской.

Когда Эдит выключила на кухне свет, я спрыгнула с банкетки и неслышно подбежала к кровати, где уже крепко спала Кэт. Эдит присела на край кровати, дала мне стакан и смотрела, как я дую на горячее молоко. Она не сводила с меня глаз, пока я пила, и я слегка занервничала. Пальцем я подцепила пенку и всосала ее.

– Робс?

– М-м?

– Ты как? Ну, то есть, ты вряд ли нормально себя чувствуешь, но меня беспокоит, что...

– А что я завтра надену?

Я знала, что сказала бы Эдит, позволь я ей продолжать. Она собиралась спросить, почему я не плачу, а если я пушусь в объяснения, то горе мое лишь усилится. Я боялась, что не сумею подавить слезы, и меня разочаровало, что Эдит нарушила нашу негласную договоренность. Если бы мы прервали этот фарс хоть на мгновение, иллюзия рассыпалась бы и пропасть разверзлась бы снова.

Вопрос мой сработал: Эдит отвлеклась. Она хлопнула себя по лбу, вскочила и подошла к стенному шкафу.

– Чуть не забыла! Я тебе кое-что привезла, хотела отдать, как только тебя увижу.

Я поставила кружку на прикроватный столик. Я всегда любила подарки от Эдит, а после получения последнего прошло изрядно времени. Во время путешествий Эдит могла покупать всякие вещи, недоступные в ЮАР из-за санкций или цензуры. Она всегда была щедрой, а я обожала, когда меня балуют, но сейчас подарки служили великой цели отвлекать меня и дальше – я нуждалась в этом больше всего.

Эдит привстала на цыпочки и стащила с верхней полки большой пакет.

– Не помню точно, что я покупала, просто в каждом рейсе немного того, немного сего, но уверена, что кое-что пригодится. – И она поставила пакет передо мной.

– Спасибо.

Пакет был основательно набит, и я разодрала обертку. Первой оттуда выпала мягкая игрушка.

– Собака!

– Не просто собака. Это Лесси.

– Кто это – Лесси? – Я потерлась щекой о длинную шерсть.

Эдит покачала головой, удивляясь моему невежеству.

– Прости, я все время забываю, в какой изоляции мы живем без телевидения. Лесси – знаменитая собака, про нее снимают кино. Породы колли.

– Как она мне нравится! Спасибо. – Я усадила собаку рядом с собой и снова запустила руку в пакет.

– Давай просто вывалим все, – предложила Эдит, выхватила у меня пакет, перевернула, и содержимое высыпалось на одеяло. – Ладно, вот это Багз Банни, на самом деле это радио-приемник. Герой “Луни Тюнз”, – объявила она, беря пластмассового кролика с морковкой. – Он такой: “В чем дело, Док?” А это Чарли Браун, Снупи и Линус. Они из комиксов “Пинатс”. – Эдит вручила мне три мягкие игрушки, похожие на нарисованных человечков. – Я хотела привезти тебе Люси, потому что она там самая шилопопая, но ее всю распродали. О, а это, гляди-ка, часы с Микки-Маусом. Микки – диснеевский персонаж, на весь мир знаменит.

Я не знала ни одного из этих существ, как не знала, кто такой Дисней, но это не помешало мне сразу полюбить их. Я надела часы, очарованная тем, как мышинные руки двигаются, указывая время.

– Ага, помню же, что покупала одежду. – Эдит выхватила что-то из кучи. – Вот, гляди, джинсовый комбез-клевш. Видишь? Верх и низ – одно целое, а штанины смотри как расширяются. Писк моды!

– Это комбинезон?

– Нет! Комбинезоны носят фермеры, Робс. А комбез – это то, что носят модные девятилетки.

Я кивнула, но не успела рассмотреть клеши получше: мое внимание привлекли две серебристо блеснувшие штукотины, погребенные подо всем остальным.

– Что это?

– Ах да, совсем забыла! Это диско-туфли на платформе, из искусственной змеиной кожи. Нравятся?

Я уже выпрыгнула из кровати и напяливала туфли. Они оказались мне чуть великоваты, я потуже затянула застёжки и выпрямилась.

– Шикарные, да? Я их купила, чтобы позлить твоего отца... – Эдит осеклась, словно ей вдруг стало больно.

Она замолчала, и от повисшей тишины я занервничала. Мне хотелось, чтобы мы продолжили болтать, потому что болтовня заполняла время. Каждая минута, проходившая без слез, мыслей или воспоминаний, была достижением, и я знала, что если накоплю достаточно таких минут, то станет легче, потому что мне ведь должно стать легче.

Эдит тряхнула головой, словно отгоняя мысли, и улыбнулась.

– Ну ладно, снимай и иди в кровать. Наденешь туфли и комбез завтра, а я одолжу у сына друзей футболку и кофту. Все равно сейчас все одинаковое, что для мальчиков, что для девочек, так что какая разница. А потом, боюсь, нам придется съездить к вам домой, взять твои вещи.

Эдит не спрашивала, что я чувствую, а я не спрашивала ее. Мы застыли каждая в своем пузыре горя, и если правда, что страдать за компанию легче, то скорбь, если ее разделить с другим, вовсе не уменьшается и не слабеет.

12 БЬЮТИ

17 июня 1976 года

Соуэто, Йоханнесбург, Южная Африка

Едва мы запираем калитку на щеколду, как детский голос доносится из темноты дома. Высокий, точно звук свирели, голос дрожит:

– *Ufuna ntoni?* Что вам надо?

– Это я, папа, – отвечает Андиль шепотом, и входная дверь рывком открывается.

К нам выбегает одиннадцатилетняя Байисва. Она бросается к отцу, обхватывает его.

– Я ждала вас. Мне было страшно.

– Я уже здесь, – успокаивает Андиль, мягко расцепляя ее объятия. – Где мама?

– Она приходила домой и тут же ушла еще раз проверить больницы. Она велела никому не открывать.

Мальчики проходят в дом, мы следуем за ними.

– Почему так темно?

– Я боялась зажечь свечу, вдруг кто-нибудь увидит, что я одна. – Голос Байисвы мелко дрожит. – Я сидела на полу за дверью. Меня напугал грохот.

Непрерывный шум доносится даже сюда, до Нкоси-стрит в Зонди. Сквозь ночь прорываются приглушенные взрывы, крики. Грабежи идут по всему району, и звон бьющегося стекла стал в этом городе страданий таким же обычным, как птичьи песни на холмах моей родины. Здесь я не видела ни одной птицы и понимаю почему. Если бы Господь дал нам, людям, крылья, разве мы не улетели бы отсюда?

Я тоскую по дому, хочу вернуться в сельские места, на зеленые луга Транскея. Я скучаю по своим сыновьям, по своей хижине и школе, где я веду уроки. Мне не хватает “фить-фить” птицы *umvetshana* – ее свист похож на свист мальчика-пастуха, я тоскую по воздуху, который не обжигал бы гортань.

Когда мы все входим в дом, Думи ведет меня в гостиную и помогает сесть.

– Байисва, сбегай за свечами, – распоряжается Ланга, после чего поворачивается ко мне: – *Ufuna into yokusela?*³¹

Я принимаю его предложение, и Ланга кивает Думи:

– Принеси *udadobawo*³² стакан холодной воды. – Он берет у сестры свечу и подносит к моему лицу, чтобы осмотреть рану на лбу. Порез глубокий, со вчерашнего дня он опух и снова сочится кровью. – Тетя, надо наложить швы.

– Все будет нормально. Надо только еще раз промыть и заклеить.

Ланга отодвигается, чтобы взглянуть мне в глаза.

– А вдруг рана загноится?

– Не загноится. Принеси горячей воды.

Через десять минут вода на угольной печи закипает, и мальчики начинают заниматься порезом. Ланга легко касается моей кожи лоскутом ткани, Думи следит, чтобы не капнуть на меня воском, а меня переполняет нежность к этим мальчикам – почти ровесникам моих сыновей.

³¹ Не хотите ли пить? (*коса*)

³² Тетушке (*коса*).

Байисва режет хлеб, открывает две банки мясных консервов и по кругу передает еду на выскобленных желтых оловянных тарелках. Меня слишком мутит, чтобы есть, и я отдаю свою порцию Андилию, но он отставляет ее в сторону и снова уходит в ночь – искать жену.

Поев, дети укладываются на матрасах на полу, натягивают одеяла до самого подбородка и вскоре уже сопят. Мальчики принесли с собой в дом запах огня и распри. Им бы надо помыться, смыть с себя вонь этого дня, как и мне, но чтобы наполнить маленькую цинковую ванну, придется пять раз сходить к общественной колонке, до которой полкилометра. После чего еще час нужно будет нагревать эту воду, и тогда один из нас сможет принять еле теплую ванну. Оно того просто не стоит.

Ланга что-то бормочет во сне, и я с тревогой думаю, какие сны посетят мальчиков в эту и во все следующие ночи. Дети не должны видеть того, что увидели сегодня эти дети, – тьму человеческих душ, бесконечную способность ненавидеть.

Я провела последние сорок часов, разыскивая дочь везде, где только можно, но это все равно что искать призрак. Она ни следа не оставила, ничего, кроме той лжи, что наговорила мне за последние несколько месяцев. Мне больно признать, сколь широко простирается ее обман, но я должна быть честна с собой, даже если моя дочь не сочла меня достойной правды.

Теперь я попробую поспать несколько часов, а когда проснусь, то умоюсь и снова отправлюсь на поиски.

13 Робин

18 июня 1976 года

Боксбург, Йоханнесбург, Южная Африка

Через два дня после смерти моих родителей – два дня непрерывной болтовни, во время которой мы с Эдит переливали из пустого в порожнее, – мы совершили единственную нашу с ней поездку в дом моего детства.

Бордовое с голубым покрывало лежало на полу в большой комнате – там, где его бросила Мэйбл, а покрывала с моей кровати лежали там, где их бросила я. Следы ботинок на полу в прихожей там, где полицейские притащили в нашу жизнь мерзость и страдания.

Эдит была очень внимательна, ловя малейший признак того, что я не справляюсь, но я была еще бдительнее. Если родители способны наблюдать за мной в местах, где они никогда не бывали, вроде полицейского участка или квартиры Эдит, то уж в своем собственном доме отследят меня наверняка. Я не могла рисковать и не расслаблялась ни на секунду.

Мне так хотелось войти в их комнату, открыть шкафы, вдохнуть их особые запахи, полежать на их кровати, прильнув к их подушкам. Сколько раз я искала там утешения, когда ночные кошмары будили меня и ужас не давал уснуть снова! Если мама и папа видят меня сейчас, то, может, им нетрудно будет сделать шаг, протянуть руку и прикоснуться ко мне?

Я вернулась мыслями к ночи их смерти, когда мама обняла меня в последний раз. Знай я, что это объятие последнее, я бы не отпустила ее, я бы притянула маму к себе и повисла на ней, я бы срослась с ее кожей, чтобы мы стали неразлучны. Когда воспоминание о том, как беспечно я вывернулась из ее объятий, поднялось, обернувшись упреком, из носа предательски потекло – предвестие слез, – и я с абсолютной ясностью поняла, что если останусь в комнате родителей дольше двух секунд, то меня затопит. И еще поняла, что нужно сделать.

Пробегу как можно быстрее и заберу ее.

Я сняла свои диско-туфли на платформе.

– Я с тобой, – сказала Кэт, тоже потянувшись снять туфли.

– Нет, жди меня здесь. – Я сделала глубокий вдох и пулей бросилась в родительскую ванную. Мамина тушь оказалась именно там – на столике, где мать ее оставила. Я схватила розово-зеленый цилиндр и не решалась выдохнуть, пока снова не оказалась за дверью.

Эдит, варившая кофе на кухне, услышала мой торопливый топот.

– Робс! Все нормально?

– Да! Нормально!

– Точно?

– Да!

Я сунула тушь в карман комбеза, потом передумала заниматься сборами в новом наряде, сняла его вместе с одолженными футболкой и кофтой и переоделась в вельветовые джинсы и рубашку с длинным рукавом. Как хорошо было снова надеть белье. Теперь, когда тушь переместилась в мой карман, я смогла расслабиться, успокоить дыхание и приступить к делу.

Пока я собирала чемоданы и набивала мешки для мусора всем подряд, от вьетнамок до старых обувных коробок, в которых я держала своих шелкопрядов, Эдит в маленькой гостинной курила одну сигарету за другой, стараясь не попадаться мне на пути. Ей нелегко было находиться здесь, но она стоически терпела. Она не пыталась больше нарушить наш пакт, ни разу не заплакала передо мной – кроме тех, первых минут в полицейском участке. Эдит нацепила на лицо улыбку и прикрывала слова нервной веселостью. Я старалась делать то же самое. Чем больше времени проходило, тем легче мне это давалось.

Вещи уже громоздились кучей, и Эдит в несколько приемов перенесла их в машину; она даже разыграла небольшое представление, делая вид, что переносит пожитки Кэт вместе с моими.

– Это последнее. – Я выкатила велосипед из гаража.

Эдит рассеянно подняла взгляд от сумки, которую заталкивала на заднее сиденье, и удивленно воззрилась на велосипед.

– Велик?

Я кивнула.

– Но, Робс, машина и так набита под завязку. Куда мы его денем?

Я пожала плечами.

– На крышу? Папа всегда находил место для всего. Он говорил, что для этого и придумали веревки.

Эдит почесала голову, поочередно глядя то на велосипед, то на крышу машины.

– Можно бы, если бы у машины была нормальная крыша. А у этой изогнутая, видишь?

Он свалится.

Я уставилась на нее. Она же не думает, что я брошу свой велосипед?

– И потом, Робс, городские улицы – не то же, что пригород. По Йобургу колесить небезопасно. Тебя может сбить автобус, или еще что случится. Водители носятся как ошпаренные кошки.

У меня задрожали губы.

– Ладно. Может, оставим его пока в гараже, а потом приедем за ним? Когда машина будет пустая и мы сможем уместить его?

– Честное слово?

– Конечно.

– Ладно. – Я закатила велосипед обратно, быстро поцеловала сиденье и прошептала, что скоро вернусь, пусть не боится.

Когда все было готово, Эдит заперла дверь запасным ключом, который мать дала ей на случай непредвиденных обстоятельств, и я направилась к комнате Мэйбл под настойчивую трескотню Кэт:

– А вдруг она вернулась и прячется, потому что боится полицейских?

Я тронула дверь, но она оказалась заперта.

– Она не могла нас бросить. Не могла – и все.

Я заглянула в замочную скважину. Никакого движения внутри.

Кэт никак не хотела принять доказательств того, что нас покинули, и хотела подождать – на случай, если Мэйбл вернется попозже, но я сказала ей, что нам пора. Мы повернулись, чтобы идти к машине, – и увидели, что у наших ворот собралась группка ребят. Они нерешительно перетаптывались, тут были почти все из *Die Boerseun Bende*, а также Эльсаб и Пит.

Необыкновенно важный, Пит стоял чуть впереди всей компании, держа что-то в руках. Школьную форму он сменил на обычную одежду, на нем были темно-серые гольфы и оттертые добела *takkies*. Необычное зрелище: чаще всего дети африканеров бегали босиком. Белокурые волосы были влажными и расчесаны на косой пробор, словно Пит собрался на торжественный прием.

Обычно Пит проходил в наш сад без церемоний, так что теперь меня удивила его нерешительность; наконец я вспомнила, что он не знаком с Эдит, потому, наверное, не уверен в благожелательном приеме. Культура африканеров была занятной смесью формальностей и учтивости, бескультурия, граничащего с хамством, и изысканной вежливости. Они могли быть грубыми, как наждак, – и в следующую минуту стать ослепительно галантными и обходительными.

Эдит взглянула на меня, ожидая объяснения.

– Это Пит. Его папа работает... – я остановилась, чтобы исправиться, – работал с моим.

Эдит кивнула, протянула мне руку, и мы вместе подошли к калитке. Ребята замерли по стойке смирно, глядя на Пита и явно ожидая, что он выступит их представителем. Почти все явились босыми, и пыль покрывала их ноги. Они уставились в землю, и я не могла видеть выражения их лиц. Никто не хотел смотреть мне в глаза.

Пит передал блюдо из жаропрочного стекла мальчику, стоявшему позади него, нагнулся подтянуть гольфы и снова взял блюдо.

– Здравствуйте, *Tannie*³³, – обратился он к Эдит, одной рукой прижимая блюдо к груди, а вторую протянув для официального приветствия.

Эдит пожала его маленькую ладонь.

Пит вспыхнул, и его большие оттопыренные уши сделались почти пунцовыми.

– Я очень рад встречать *Tannie*. Мое имя Беккер, Петрус Беккер, и мы жить через дорога.

Я знала, что Пит не любит говорить по-английски, и меня тронуло, что он готов на жестокое смущение, так и сяк коверкая наш язык, хотя мог бы не теряя лица говорить на родном. Его усилия были так очевидны, что мне захотелось обнять его, но вместо этого я обняла себя.

Эдит поздоровалась с ним и представилась по имени, без всяких “*Tannie*” или “тетя”. В группке за Питом послышалось удивленное бормотание, он обернулся и шикнул на приятелей. Когда с формальностями со взрослым было покончено, Пит повернулся ко мне. У него были поразительные темно-синие глаза, обрамленные длинными белесыми ресницами. Этот контраст сбивал с толку.

– Привет, Робин. – Он вставил “х” в мое имя, разделив его на два. *Роб Хин*. – Ма приготовила для тебя рагу, – пробормотал он и протянул блюдо через забор. – Это мясо *blouwildebees*³⁴, очень *lekker*³⁵.

Я сказала “спасибо” и неловко приняла блюдо. Я понятия не имела, кто такой *blouwildebees*, но предположила, что это какое-то несчастное животное, убитое во время охоты. Дома у Пита было полно трофеев, доказывавших охотничье мастерство хозяев. Головами зверей были увешаны все стены в гостиной и столовой, а шкуры зебр и леопардов служили коврами. Все эти мертвые глаза, следившие за каждым твоим движением, наполняли меня жутью. В доме проживали два белых бультерьера, и я спрашивала себя, не пополнят ли в один прекрасный день и их головы этот кошмарный настенный зверинец.

Питу, кажется, не терпелось договорить и убраться, и он продолжил:

– Мы очень сожалеть, когда услышать о что случилось. С твои ма и па. – Выражение искренней печали совсем не шло его веснушчатому лицу. – Они были хорошие люди и не заслужили, чтобы их убили *негритосы*.

Однажды я слышала, как отец Пита распространяется насчет того, почему нельзя доверять *негритосам*, и самая веская причина заключалась в том, что они устроили в XIX веке. Дингаан, правитель зулусов, пригласил буров и Пита Ретифа, предводителя фуртреккеров³⁶, в зулусский королевский *крааль*, на праздник в честь договора, который они только что подписали. Буры, доверяя хозяевам и по просьбе Дингаана, явились без оружия. Когда праздник был в разгаре, Дингаан вскочил, крича: “*Vambani abathakathi!*”, что, вероятно, по-зулусски значило “Хватайте белых!”, и всех буров перебили.

Речь папаши Пита меня тогда взбесила, потому что он произнес ее в присутствии их черной служанки, Саартге, которая кивала на все, что он говорил. Однако всем было известно, что Беккеры доверяли Саартге дом со всем содержимым каждый раз, когда уезжали в отпуск

³³ Тетя (*африкаанс*).

³⁴ Голубой гну (*африкаанс*).

³⁵ Вкусное (*африкаанс*).

³⁶ Капские голландцы, покинувшие британскую колонию и в 1830-х годах продвигавшиеся на север Африки.

в Дурбан. Еще она хвалилась перед всеми служанками района тем, насколько больше ей платят и как семья о ней заботится. Когда я потом заговорила об этом с Питом, он не понял, что вызвало мое недоумение. Лишь пожал плечами и сказал: “Саартге не *черномазая*. Она часть наша семья”.

– Спасибо за рагу, – сказала Эдит. – Выглядит великолепно. Передай, пожалуйста, маме нашу благодарность за этот прекрасный жест.

– *Ja*, я передать, *Tannie*. Она еще говорить, что сожалеть. Они приходят на похороны, и она печь пироги на них.

Явно довольный тем, как он исполнил свой долг, Пит снова пожал руку Эдит. Потом повернулся и еле заметным кивком скомандовал своей ватаге следовать за ним.

Улица готовилась к одной из вечерних партий в крикет, уличным фонарям предстояло стать прожекторами, когда стемнеет. Железная урна встала посреди дороги вместо настоящих воротцев, и бита уже прислонилась к ней в ожидании игрока. Отвал возвышался над этой картиной, вбирая в себя свет, и казалось, что он испускает золотое сияние. Пит сбросил ботинки, стащил гольфы и начал делить мальчишек на две команды. Девочек отправили сидеть под деревьями, где они могли быть азартными наблюдательницами, криками подбадривая братьев, кузенов или мальчиков, которым втайне симпатизировали. Вратарь занял свое место за урной, и Пит взял клюшку, подав сигнал боулерам противников, что он готов к первому мячу.

Когда игра началась, я подумала, что если бы жизнь была справедливой, то на вечеринку позвали бы отца Пита, Хенни, а не моего папу, и его родители оказались бы убитыми вместо моих. Но папа и мама были правы. Жизнь несправедлива, и меня поразило, насколько все осталось таким же, как прежде. Лишь мой мир искорежило до неузнаваемости.

14 БЬЮТИ

18 июня 1976 года

Соуэто, Йоханнесбург, Южная Африка

Уже два дня Соуэто в огне, а я все еще не знаю, где Номса, не знаю даже, жива ли она.

Сейчас пятница, стемнело, мужчины из коммуны собрались в доме Андиля, чтобы обменяться новостями. Они постарались не привлекать к себе внимания и являлись по одному, с десятиминутными перерывами. Полиция относится к собраниям нервно и не задумываясь арестует всех, кого заподозрит в проведении собрания с целью составить заговор против правительства.

Линдиви и дети ушли. Я тоже должна была бы уйти, но слишком измотана, чтобы провести вечер за беседами с семейством Линдиви в Мидоулэндс³⁷. Женщине не место в комнате, полной мужчин, но они закрыли глаза на мое вторжение, потому что я – гостя в доме своего брата и потому что моя дочь – среди пропавших.

Дым кольцами поднимается из трубок, набитых табаком; кое-кто из мужчин время от времени делает глоток пива из принесенной с собой бутылки. Кислая вонь – сильнее пота – заполняет комнату; мне предложили немного пива из сорго, но от запаха *umqomboti*³⁸ к горлу подкатывает тошнота. Единственный свет исходит от трубок, кончиков сигарет и нескольких свечек, которые я зажгла в стороне от елозющих ног и жестикулирующих рук.

– Примечательно, что восстала именно молодежь, – произносит Одва в своей речитативной манере, – ведь все – для них. – Одва вырос с нами, в нашей деревне в Транскее, он обожает звук собственного голоса.

Сосед Андиля, Мадода, соглашается:

– Все эти годы мы боролись за то, чтобы наши дети обрели будущее в нашей стране.

– Будущее!

– Да здравствует свобода! – восклицают другие.

Я готова проклясть свободу, если за нее придется заплатить кровью моего первенца. Когда Номса семь месяцев назад ушла из-под защиты нашей хижины, я не хотела, чтобы она покидала нас. Номса с самого рождения была особенной, даром, пожалованным мне предками. Она выжила во время наводнения, когда река унесла и скот, и ее любимого брата Мандлу. Она на коленях у старших слушала поэтические сказания *imbongi*³⁹ о наших сражениях и наших победах. Ее глаза загорались огнем отмщения, и это пугало меня. Я не хотела, чтобы она сражалась.

Я хотела, чтобы она осталась дома, с братьями и со мной. Я не хотела, чтобы она следом за отцом отправилась в Йоханнесбург, потому что боялась, что назад она, как и он, вернется в гробу. Я хотела удержать ее в безопасности, но безопасность для Номсы всегда была тюрьмой. Я всю жизнь пыталась запереть ее дома, но она говорила, что я запираю ее от мира. И я уступила. Я позволила Номсе уехать в этот город учиться – в ответ на обещание, что она не ввяжется ни во что опасное, но мне следовало знать, что она лжет. Единственное, против чего оказалась бессильна моя воительница, – это ее собственная яростная натура.

Теперь Соуэто в осаде. Патрули на броневиках, огонь дотла спалил дома, а вонь слезоточивого газа не дает забыть, что против нас ведется война. Вертолеты кружат над головой;

³⁷ Пригород Йоханнесбурга.

³⁸ Южноафриканское домашнее пиво из кукурузы и сорго с низким содержанием алкоголя (обычно менее 3 %), имеет душистый, кислый запах.

³⁹ Сказитель (*зулу, коса*).

они – хищные птицы войны, что высматривают человеческую падаль, а пламя насилия, словно пожар в *вельде*, охватило весь район.

– Я слышал, тайная полиция охотится на лидеров восстания, – говорит Одва.

– Пусть роются в темноте, точно слепые свиньи, пусть пытаются унюхать запах наших героев. Они никогда их не найдут.

Одва продолжает, не замечая попыток Мадоды напомнить о моем присутствии:

– Говорят, их утащили в какие-то тайные места, где их пытаются и...

Андиль обрывает его, и я благодарна брату.

– Ходят слухи, что многих спасли и прячут, выжидают, чтобы переправить через границу, в Родезию, Мозамбик, Анголу и Ботсвану, в изгнание.

Я всей душой надеюсь, что Номса среди спасенных. Если нет – мы найдем ее в морге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.